Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 9

2018

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА

ЭЛЬЧИН. *Рассказы* 3
Таир АЛИ. **Мирза Халил и кот в мешке.** *Повесть* 72
Елена АНДРЕЕВА. **Пицца и Бетховен.** *Рассказ* 119
Ширин МАНАФОВ. **Беленькая**. *Юмореска* 127

ПОЭЗИЯ

Рашид МЕДЖИД. *Стихи* 46
Инесса ЛОВКОВА. *Стихи* 49
Виталий ИГОЛЬНИКОВ. *Стихи* 67
Элина МАХМУДОВА. *Стихи* 113
Тофик АГАЕВ - 85. *Стихи и переводы* 122

ПУБЛИЦИСТИКА

Алина ТАЛЫБОВА. **И жизнь, и слезы, и любовь...** 54
Ибрагим ИМАМАЛИЕВ. **Патриарх авторской песни** 61
Таира ДЖАФАРОВА. **Загадка старой фотографии** 116

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел публицистики – **Ровшэн КАФАРОВ**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49**
Литсотрудники – **Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: ***Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,*** **Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ**

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com
Тел: 493-75-81

Сдано в печать 24.08.2018г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497-36-23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
В публикуемые материалы редакция вносит необходимую правку.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2018 г.

ЭЛЬЧИН

рассказы

перевод Натаван Халиловой

Лифт

1

…потом я опять услышал тот самый шум, это был звук опускающегося и поднимающегося лифта. Затем мне вдруг показалось, что я сам и есть этот лифт. Я – лифт! В тот момент я даже представить себе не мог, что фантастическая мысль воплотилась в жизнь – я превратился в лифт.

Вот уже несколько лет, с тех пор, как мы переехали в этот дом, я и моя семья каждый день с божьей помощью поднимаемся на этом лифте в свою квартиру на тринадцатом этаже.

Только этим ли лифтом?

Но если я лифт, то как я пользовался этим лифтом? Произошедшее со мной столь невероятно и фантастично, что кажется каким-то таинством.

Почему, почему именно со мной должна была произойти эта невероятная история?

Есть ли тот свет? – никто не может ответить на этот вопрос. Это лишь надежда, и перед страхом смерти ты хватаешься за нее, как за соломинку, – еще не все потеряно. Но, к сожалению, эта надежда теперь очень далека от меня, она недосягаема, потому что я больше не человек, я – лифт, а значит, моя жизнь (жизнь?) теперь зависит не от Бога, а от электричества.

В первое время, когда открывались двери, мне казалось, что я широко раскидываю свои руки и обнимаю входящих людей. Возможно, потребность людей в общении создавала это ощущение, не знаю – но у меня больше нет желания обнимать их, однако, увы, это не зависит от моего желания – двери открываются и закрываются независимо от моего желания.

Вскоре моим самым большим желанием стало отключение электричества. Но что бы я делал, если бы отключили электричество? Меня бы не стало, потому что я больше не человек, я лифт, и у меня не было спасительной соломинки, а пока я был новеньким, исчезать я не хотел.

Потом выяснилось, что отключение электричества ничего не решает. Как-то раз отключили электричество, и я исчез. Но его подачу быстро восстановили, и я снова появился и стал, как всегда, подниматься и опускаться.

Это не то, чтобы пробудиться ото сна, потому что ты не видишь снов, не ворочаешься, не кашляешь. Это как бы исчезнуть и снова появиться из небытия.

Когда отключали электричество, я исчезал, а когда его восстанавливали, я снова появлялся. Это как камни Чингисхана – уменьшаются и снова восстанавливаются. Когда Чингисхан отправлялся на войну, каждый из его воинов кидал на землю по одному камню. Камни, падая друг на друга, образовывали огромный холм. После возвращения из похода каждый воин поднимал с этого холма по камню. По оставшимся камням Чингисхан подсчитывал свои потери. Затем в войско вливались новые, молодые воины, и все повторялось снова. И холмы то вырастали, то уменьшались.

2

Я работал научным сотрудником в НИИ истории, специализировался на древних цивилизациях, в основном, на культуре шумеров. В то весеннее утро я, как всегда, в половине девятого – работа начиналась в девять утра – вышел из дома и нажал на кнопку лифта. Лифт как будто ждал меня: в ту же секунду двери раскрылись.

Иногда, когда лифт ожидал меня на тринадцатом этаже, меня охватывало некое чувство легкости и оптимизма. В тот момент мне казалось, что когда двери лифта открываются, положительная энергия охватывает все вокруг, и эта энергия минут на пять-десять уносит прочь мое плохое настроение, которое часто бывало у меня, и причину которого я сам понять не мог.

Когда в то весеннее утро, наполненный этой временной положительной энергией, разлитой вокруг, я вошел в лифт, меня неожиданно бросило в холодный пот, я почувствовал, как тело мое растворяется со скоростью чернил, расплывающихся по промокашке, мое отражение в зеркале тает и исчезает. Я видел в мельчайших деталях внутреннюю часть лифта, все четыре стены, пол и потолок, но себя внутри не видел, лифт внутри был пуст: я был в лифте, и в то же время меня в нем не было.

Мой портфель – вот уже двадцать один год, как я хожу на работу с этим портфелем – валялся в углу лифта, и я как будто только сейчас заметил, какой он у меня потрепанный.

Мне захотелось крикнуть, потянуться, хотелось выбраться из небытия, но ничего не получалось, я не мог закричать, потому что у меня не было голоса, не было рта, все мое тело исчезло.

Я не был в лифте, я был лифтом.

Я на большой скорости спустился на 1-й этаж, двери открылись, в кабину вошел мужчина, живший на пятом этаже, по утрам я часто встречался с ним, он отводил внуков в детский сад и возвращался обратно, и я наивно надеялся, что он все поймет, как-то поможет мне, но он только удивленно посмотрел на мой портфель в углу лифта.

Я хотел крикнуть: это я, мне нужна помощь, вернее, я кричал, орал, но голоса не было, и когда на пятом этаже двери открылись, мужчина, снова вопросительно взглянув на мой портфель, вышел из лифта.

Затем я быстро поднялся на 18-й этаж, двери открылись, и в лифт вошла самая красивая девушка нашего подъезда (а на самом деле всего мира!), двери закрылись, девушка нажала на кнопку первого этажа, затем посмотрела на мой портфель и, как будто узнав его, улыбнулась. Оторвав взгляд больших черных глаз от моего портфеля, она внимательно посмотрела на свое отражение в зеркале, расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке под курткой так, чтобы ямочка между грудями была немного видна.

Я не знал, как зовут ее, каждый раз, когда я встречался с ней возле лифта, или когда мы вместе поднимались на лифте, мы улыбались и приветствовали друг друга – только и всего. Ясное дело, эта девушка не могла знать, что богиня Нинлиль в моем воображении всегда ассоциировалась с ее образом. По ночам она являлась ко мне голой в образе Нинлиль.

Девушка улыбнулась и подмигнула своему отражению, но в тот момент я был безразличен к ее красоте, потому что, собрав все свои силы, я хотел крикнуть, что стал лифтом, и пусть эта девушка – мой пассажир! – поможет мне. Но чем могла мне помочь эта девушка, если мое существо состояло из невидимого и безголосого сознания? (Просто потом, когда эта девушка каждый день поднималась или спускалась со мной на первый этаж, все мое невидимое существо окатывала приятная волна – на мгновение мне казалось, что сейчас войдет Нинлиль, завернутая в тонкое прозрачное одеяние, и эта волна исходила от ее белого, упругого, гладкого и желанного тела.

В то весеннее утро, когда я стал лифтом, на первом этаже ждали лифт (т.е. меня) два незнакомых человека. Когда моя красавица (моя Нинлиль) вышла, они вошли в лифт и нажали на кнопку семнадцатого этажа, и я со скоростью поехал вверх.

Потом меня вызвали на десятый этаж.

Это был этаж, на котором жил член-корреспондент Академии наук Мурсал Сулейман.

Можно ли ненавидеть какой-либо этаж здания? Можно! В нашем здании я ненавидел десятый этаж, и именно из-за Мурсала Сулеймана.

Когда меня вызвали на десятый этаж, я подумал, что в такой тяжелый и трагический момент в моей жизни мне совсем не хочется его видеть. Но я был лифтом и полностью подчинялся нажатию кнопки. Я остановился на десятом этаже, двери открылись, и в кабинку вошел Мурсал Сулейман.

Разве когда-нибудь что-нибудь было по моему желанию?

Этот человек среднего роста, полный, злопамятный и высокомерный, был похож на курицу-наседку, и когда он говорил, казалось, что эта курица, глядя на тебя полными гнева глазами, готовится защищать своих цыплят.

Он нажал на кнопку первого этажа, увидев мой портфель, сразу узнал его и начал гневно бормотать себе под нос.

– Этот несчастный уже и портфель свой забывает… – потом носком туфли он отодвинул портфель от двери и снова забормотал: – Несчастный, несчастный…

Дело в том, что этот Мурсал Сулейман был начальником моего отдела. За свою монографию об Атропатене он получил государственную премию. Кембриджский университет перевел и опубликовал эту монографию на английском языке. Опубликовали ее и в Японии. Сейчас он был занят Кавказской Албанией, и на всех собраниях отдела он не упускал случая, чтобы не отчитать меня перед другими работниками:

– Несчастный, на кого ты замахнулся, на шумеров? По тебе ли эта тема?

Или:

– Несчастный, по одежке протягивай ножки!.. Двадцать лет ты носишься с одной диссертацией и никак ее до ума не можешь довести!

Или:

– Этот бедолага не понимает, что расстояние между ним и шумерами в сотни раз больше расстояния между шумерами и современностью!..

И так далее в том же духе.

Но эта кудахталка и представить себе не могла, что по вечерам, в кровати, закрывая глаза и гуляя по древнему Шумеру, по берегу Евфрата, я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Правда, это всего лишь мечты, ну и что с того? На самом деле счастье, которое ты испытываешь в своих мечтах, дает более сладкое ощущение, потому что счастье в реальной жизни – вещь относительная. Счастье же, которое ты проживаешь в воображаемом мире, является полным, целостным, несравнимым и безграничным.

Я знал каждое священное ивовое деревце, посаженное на берегу Евфрата, и чувствовал, что и они меня знают, ждут меня и радуются мне. Я расхаживал по берегу, как Энлиль. Я действительно ощущал себя Энлилем – сыном Неба и Земли, и в том воображаемом прекрасном мире я был божественным покровителем столицы Шумеров Ниппура. И Луна, и Подземный мир, и посланники Богов, и самые мощные войска повиновались моим сыновьям.

Я слушал шумерские рассказы, слушал шумерские песни, смотрел шумерские танцы, и в те ночи я любил богиню Нинлиль. Прозрачные одеяния спадали с тела Нинлиль, ее горячие груди прикасались к моим плечам, потом ее нежные и такие родные руки гладили мою грудь. В эти прекрасные моменты самым несчастным человеком на земле был не я, а Мурсал Сулейман, монография которого была опубликована в Кембриджском университете.

Наконец на первом этаже двери открылись, и Мурсал Сулейман (впоследствии, когда я поднимал вверх и опускал вниз этого человека, мне казалось, что прошли не секунды, а бесконечные минуты) вышел, и меня вызвали на тринадцатый этаж – мой этаж.

Чуть не сказал, что мое сердце бешено заколотилось, но как может биться то, чего нет? Мое сознание стало пульсировать, и когда на тринадцатом этаже двери открылись, вошли мои сын и дочь.

В школе начались весенние каникулы, и я знал, что они собираются к бабушке – к моей теще.

В тот момент я не хотел, чтобы моя дочь увидела мой портфель, потому что внезапно у меня возникло чувство стыда за такой потрепанный портфель, но дочка тут же его увидела:

– Ой, это же папин портфель!.. – сказала она.

Мне захотелось крикнуть: я здесь, не бойтесь, я стал лифтом. Но мой голос, словно наполнив все мое сознание, был готов взорвать его, как воздушный шар. Я и сам хотел, чтобы это произошло, хотел, чтобы исчезло не только тело, но и сознание.

Дочка подняла мой портфель, и когда лифт остановился на первом этаже, она снова нажала на кнопку тринадцатого этажа; доехав, они поспешили домой. После этого какое-то время только и говорили, что о моем исчезновении. В лифте соседи и родственники, которые приходили к нам, выдвигали разные версии: он (т.е. я) покончил жизнь самоубийством, наверное, у него были долги, которые он не мог выплатить, его убили, его похитили (почему?...)

Однажды, когда моя жена и теща спускались на лифте вниз, теща сказала:

– Ты столько ругалась с ним, что он не выдержал и сбежал от тебя.

– Мама, разве я чего-то требовала от него?! – сказала жена и прослезилась.

В тот момент с десятого этажа поступил вызов, я остановился, двери открылись, и вошел Мурсал Сулейман. Он поздоровался с моей женой и, заметив на ее лице слезы, искренним голосом сказал:

– Ну, что можно поделать?.. Это жизнь. – А когда я остановился на первом этаже, попрощался: – До свидания. – И вышел из лифта, говоря самому себе: – Кто может знать свое предначертание?.. Все в руках божьих.

Так, разговаривая сам с собой, он вышел из подъезда, и я уже не мог слышать, что он говорит.

Странно, но с тех пор я больше не испытывал ненависти к десятому этажу.

Почему? – не знаю.

Так проходили дни.

Все успокоились, больше обо мне никто не говорил – я был всеми забыт. Даже мои дети больше не говорили обо мне, во всяком случае, я ни одного слова от них не слышал, хотя мне очень хотелось, чтобы они вспоминали обо мне.

Ну и что с того, что я хочу?

Звук поднимающегося-спускающегося лифта разрушает мой воображаемый мир. Даже по вечерам я больше не могу расхаживать по берегу Евфрата, не могу радовать священные ивовые деревья, не могу давать указания своим воображаемым подданным, потому что я больше не могу быть могущественным Энлилем, потому что я стал лифтом. Я больше не могу любить Нинлиль по вечерам, так как я постоянно нахожусь в напряженном состоянии. Сейчас какой-то припозднившийся житель нажмет на кнопку, двери с шумом откроются, и чаще всего в таких случаях вместе с пассажиром в кабинку лифта врывается запах спиртного, отчего прекрасная богиня Нинлиль моментально растворяется и исчезает.

Иногда я вспоминаю свой старый портфель и мне кажется, что этот портфель когда-то был человеком.

По-моему, я сошёл с ума.

Я – в смысле лифт.

3

Сизифу было дано самое суровое наказание после его смерти, но в чем была его вина? – он обманул Бога Смерти, потому что не хотел умирать. Только я не «Кто», я – «Что», кроме моего сознания у меня ничего нет. Но я тоже не хочу умирать. Я боюсь небытия.

Мое существо, состоящее только из сознания, с раннего утра (с момента нажатия на кнопку) до позднего вечера, пытается и никак не может понять: если я не «Кто», а «Что», то почему я приговорен к такому сизифову труду.

У Сизифа, наверное, была хоть искорка надежды, что когда-нибудь он сможет докатить огромный камень до вершины горы, и этот камень не сорвется вниз. У меня же не было даже призрачной надежды, что я когда-то что-то смогу сделать, потому что для меня этого «что-то» не было.

Сизиф обманул Бога Смерти и пленил его, а я был простым человеком, одним из миллионов простых маленьких людей, в чем же был мой грех, что я получил такое невероятное и страшное наказание?

Я родился в больнице, подрос, пошел в детский сад, потом в школу, позже окончил исторический факультет университета, работал научным сотрудником в Научно-исследовательском институте, женился, жена моя – домохозяйка, у нас двое детей, и до того, как я стал лифтом, сыну было восемь лет, а дочери одиннадцать – вот и все! – вот и вся моя жизнь, вся моя биография.

Может быть, я кого-то обидел? – нет, больше обижали меня. За всю свою жизнь я и пальцем никого не тронул. И до женитьбы у меня не было женщин, и после женитьбы, кроме моей жены, других женщин я не знал (…кроме Нинлиль?). Зарплату, всю, до последней копейки, отдавал в семью. Никого никогда не предавал – и такое наказание?!

Почему?

Иногда я думаю, может быть, число тринадцать действительно несчастливое?

Моя теща была неприятно удивлена, когда услышала, что наша двухкомнатная квартира находится на 13-м этаже.

– На тринадцатом... – сказал она. – Почему на тринадцатом?

Но если следовать этой логике, то не только в Баку, но и по всему миру люди, живущие на тринадцатом этаже, должны стать лифтами. Когда я думаю об этом, то сам себе говорю: «Откуда тебе знать, что это не так?». – Кто может знать об этом? – Никто. – Кто-то знает, что ты превратился в лифт? – Нет!

В последнее время я больше не боюсь, как раньше, исчезнуть, и мне даже кажется, что мысль, родившаяся в глубине моего сознания, прорастая, как трава сквозь асфальт, крепнет, превращаясь в желание исчезнуть. И когда отключается электричество, я не хочу, чтобы его восстанавливали. Но, к сожалению, от меня ничего не зависит.

Мои желания сейчас и гроша ломаного не стоят.

Лифт поднимается и спускается.

Двери лифта открываются и закрываются.

Я осужден.

Самоубийство

(рассказ о слепой красивой девушке)

1
Как Аби стал святым

...потом он увидел, что он летит головой вниз между отвесными скалами в бездонное ущелье со скоростью тяжелого камня – летел, летел, наконец, ударился о дно ущелья, и из его размозженного черепа фонтаном в острые скалы брызнули мозги, смешанные с кровью.

Той зимней ночью Захра – его мать – вскочила на испуганный крик сына, босиком неслышно подбежала к нему.

– Аби, что с тобой? Страшный сон приснился? – спросила она, и когда укрывала сползшим одеялом ребенка, увидела, что он весь мокрый: – Как же ты вспотел... – прошептала она.

Ребенок устремил на Захру большие зеленые глаза, блестящие в темноте, словно на них откуда-то падал свет:

– А куда опять ушел Аслан?

– Тише, – сказала мать, мельком взглянув на Шакира. – О ком ты говоришь?

– Аслан...

– Говори тише... Кто такой Аслан?

Аби и сам не знал, кто такой Аслан.

– Опять его оштрафовали? – спросил он.

– Что тебе такое приснилось? – спросила мать. Потом велела: – Ну-ка, поднимись. – Она сняла с него мокрую майку, вытерла вспотевшее тело ребенка рукавом своей широкой ночнушки, хотела принести ему свежую майку, но испугалась, что Шакир проснется. – Спи, спи, Аби, – прошептала она. – Постарайся не скидывать с себя одеяло.

Аби родился после пяти старших сестер, но Шакира, отца пяти девочек, рождение сына вовсе не обрадовало, человеком он был мрачным, постепенно отдаляясь от Бога, душа его переполнялась тоской, он вечно был недоволен и своей судьбой, и своей жизнью, считал этот мир «подлым» и стоило ему немного выпить, как он старался довести до каждого это свое мнение.

Захра такими же бесшумными шагами вернулась и легла в свою постель, с опаской посмотрела на Шакира, он работал шофером в бакинском цирке, уезжал на работу рано утром на первой электричке и возвращался заполночь такой усталый, что спал мертвецким сном, и на этот раз он спал крепко, не проснулся. Шакир возил животных, приезжающих на гастроли, отправляемых в зоопарк или, наоборот, из зоопарка в цирк, и, может, оттого, что свыкся с животными, с людьми разговаривать вообще не любил, а если и говорил с кем-то, то, не выбирая выражений, ругал этот мир на чем свет стоит.

А Захре той осенней ночью не спалось, Аби то и дело ворочался, скидывая с себя одеяло, и она, как тень, подходила к ребенку, вытирала пот и снова укрывала его. Шакир тяжело дышал, потому что много курил, всякий раз при выдохе вокруг распространялся запах дешевых и крепких сигарет, и Захра, уже привыкшая к этому запаху, просила Бога только о том, чтобы Аби не заболел.

После той осенней ночи Аби, то есть Абдул, не заболел.

И шестилетний Аби, и Захра узнали, о каком Аслане шла речь, только через десять лет, когда Аби исполнилось шестнадцать. Тайна этих десяти лет не вместилась бы и в несколько десятилетий – за это время не только жители поселка, но даже Шакир, бросивший курить, стали называть Абдула «Ага».

В северной части поселка, напротив моря, у подножья горы, было место паломничества «Korgözəlqız» («Слепая красивая девушка»), – говорят, эта девушка, с красотой которой никто не мог сравниться на всем побережье Абшерона, очень любила свою мать, но та неожиданно заболела и умерла, а красавица, не смирившись с этой потерей, днем и ночью столько плакала, что в конце концов ослепла, из ее слез образовался ручей, а Господь за такую преданность наделил этот ручей целительной силой. Чуть выше места паломничества, на вершине горы, был маленький отступ, который прозвали «Скала слепой девушки»: говорят, что в последний раз ту девушку видели сидящей именно там, потом она исчезла.

Жители не только поселка, но и всех близлежащих деревень, все, у кого были какие-либо проблемы в жизни, считая эту скалу святой, приходили к «Korgözəlqız», приезжали даже из Баку, давали обеты, совершали тут жертвоприношения, умывались водой из родника, пили ее, иногда в ней даже купали маленьких детей, но с той осенней ночи, когда маленький Аби проснулся весь мокрый и спросил про Аслана, количество паломников к «Korgözəlqız» стало уменьшаться.

Дело в том, что до того вечера Аби был обычным ребенком и ничем от других детей в квартале не отличался. Он играл с другими детьми, проказничал, смеялся,

плакал, но после того вечера он стал совершенно другим – дети купались в море, оглашая округу веселым смехом и криками, а он сидел на берегу в сторонке и с интересом наблюдал за ними, и самое странное то, что когда Аби смотрел на кого-то из детей, он как будто видел кино: одного из них он видел уже взрослым, сидящим за рулем дорогой машины, другого – утонувшим в море, третьего – залитым кровью, четвертого – ведущим своего маленького сына в школу...

А иногда случалось так, что когда он смотрел на них внимательно, то слышал, как бьются их сердца, как по венам течет их кровь, как выпитая ими вода достигала их желудка, одним словом, он видел все, что творилось внутри них.

Вначале Аби забавляли эти видения, для него это была игра, ему казалось это вполне нормальным, он считал, что все вокруг именно так всё и видят, но постепенно понял, что это нечто другое.

Когда Аби учился во втором классе, в один из пасмурных осенних дней на перемене он увидел своего классного руководителя Талыб-муаллима, беседующего с другими преподавателями перед учительской. Аби вздрогнул и замер. Талыб-муаллим с удивлением посмотрел на него:

– Что с тобой, дитя, что случилось?

– Бадал упал с крыши и умер, – ответил он.

У Талыб-муаллима глаза на лоб полезли:

– Что?! – только и вымолвил он и поспешил в учительскую, чтобы позвонить домой.

Бадал закончил школу с золотой медалью и теперь учился в университете на биологическом факультете, весь поселок знал о голубятне, которую он держал на крыше «хрущевки», построенной в поселке еще в 60-х годах. Когда Бадал запускал с крыши дома, в котором жил, своих голубей, то все в поселке, от мала до велика, наслаждались пируэтами птиц в небе.

После того, как Талыб-муаллим позвонил домой и поговорил с Бадалом, живым и здоровым, он пришел в школьную столовую, подошел к Аби, который ел булку и, глядя на него через толстые стекла очков, сердито спросил:

– Что это за глупости ты говоришь, а?! Завтра пусть отец придет в школу!

То, что Талыб-муаллим вызвал отца Аби в школу, говорило о крайнем его негодовании, дело в том, что так же, как Шакир ненавидел весь мир, так и жители поселка не жаловали его, сторонились, называя его за глаза «овчарка Шакир», так как человеком он был не только грубым, но и скандальным.

Держа в руках булку и глядя вслед Талыб-муаллиму, Аби никак не мог понять, за что так рассердился на него учитель.

В тот пасмурный осенний день по всему поселку разнеслась страшная весть: сын Талыб-муаллима Бадал, пытаясь запустить своих голубей со своей голубятни, упал с крыши и разбился насмерть. Люди, пораженные этой вестью, думали, что Талыб поскользнулся и упал, однако Аби никому не говорил, но знал точно, что Бадал не поскользнулся, а бросился с крыши – еще утром, когда он встретил Талыб-муаллима на перемене, он ясно увидел это, но с тех пор на протяжении многих лет он никому не говорил того, что увидел.

После того, как Аби при других учителях сказал Талыб-муаллиму о смерти Бадала, весь поселок стал называть его не просто Аби, а полным именем – Абдул, потом стали называть «Абдул Ага», а потом и просто «Ага», и когда кто-то говорил «Ага», все знали, о ком идет речь.

Однажды, когда весть о способностях Аби только-только начала распространяться, Шакир, вернувшись с работы, сидел и, как всегда, одну за другой курил сигареты.

– У него глаза дикой кошки! – посмотрев на Аби, совершенно неожиданно даже для самого себя сказал он. Тогда Захре показалось, что Шакир сказал эти слова с ужасом, исходящим из самого его нутра, казалось, в эту минуту он впервые почувствовал себя растерянным. Через два дня, когда, поужинав после работы, Шакир, по своему обыкновению, сидел и беспрерывно курил, Аби, уставившись на отца своими большими зелеными глазами, сказал:

– Больше не кури.

С тех пор Шакир больше не курил.

2. Ежедневная жизнь Аби

Количество паломников к пиру «Korgözəlqız» настолько снизилось, что побирушки и собиратели жертвоприношений из близлежащих деревень, поселков, даже из самого Баку, облюбовавшие себе это место и считающие его своей собственностью, – лжемоллы, лжесеиды, лженищенки, постоянно ругающиеся между собой, – начали возводить напраслину на Агу, распространять среди людей ложные слухи, переправлять их в прессу под видом «шок-новостей», но все было бесполезно, слава о нем шла от Баку до абшеронских деревень и постепенно расходилась все дальше и дальше, потому что дар Аги был на виду и говорил сам за себя.

Даже настоящий ученый, молла Гурбан, живший в поселке, диву давался и только удивленно разводил руками.

– Люди, – говорил он вначале, – не сводите ребенка с истинного пути, не делайте его несчастным. Пусть он занимается своими уроками. Не будьте невеждами и неучами. Гадание, колдовство, чародейство – это предрассудки. Заниматься такими вещами – значит, служить Дьяволу.

Но через какое-то время двухлетний внук Моллы Гурбана вдруг чуть не умер, врачи говорили разное, выписали лекарства, но ничего не помогало, мать ребенка, дочка Моллы Гурбана, отнесла горящего в температуре ребенка к Аге, и тот, посмотрев внимательно на ребенка, спокойно сказал:

– Он проглотил длинную резину.

Ребенка срочно забрали в Баку, сделали операцию и вытащили застрявшую в кишечнике резиновую ножку куклы длиной в 9 сантиметров, и повидавший многое опытный врач был удивлен тем, как мог двухлетний ребенок проглотить такой большой предмет.

Покойный Молла тогда только развел руками и промолвил:

– Что мне сказать?..

На самом деле это было признанием дара Аги.

К дверям его дома стали стекаться больные, инвалиды, люди, искавшие своих потерянных родственников, бездетные, жаждущие иметь детей, короче, все, у кого были те или иные проблемы, и Ага, даже взрослея, оставался по-детски искренним и правдивым, говорил то, что видит, а то, чего не видел – не выдумывал, признавая, говорил: «Я затрудняюсь что-либо сказать в этой ситуации».

Поселок, в котором жил Ага, становился все более известным, постепенно он стал благоустраиваться, потому что Шакир, оставив работу в цирке, занялся органи-

зацией приема Агой посетителей и заработанные сыном деньги тратил не только на свою семью, поток посетителей увеличивался, и соразмерно этому увеличивался и поток денег, на эти деньги Шакир заасфальтировал дорогу длиною почти в три километра, ведущую от магистрали в их поселок – и теперь людям не приходилось, сходя с бакинских автобусов, идти пешком до села по бездорожью, автобус подъезжал к самому селу. Электрические провода, проведенные в село еще во времена Сталина, при малейшем ветре обрывались, Шакир обновил их, и вообще, всеми ненавидимый, мрачный, грубый, слывший скандалистом «овчарка» Шакир оказался человеком мягким, доброжелательным, готовым протянуть руку помощи нуждающимся.

Шакир выдал замуж всех пятерых дочерей, и мужем одной их них стал некий Аслан. После того, как Шакир стал работать на себя, он купил себе «Москвич», но по мере того, как росла слава Аги, Шакир купил себе «Жигули», а старую машину подарил Аслану. Аслан был косым и по этой причине часто нарушал правила движения, будучи человеком бедным и простодушным, но в то же время нагловатым по природе, он каждый раз приходил к тестю с жалобой:

– Меня оштрафовали...

После четвертого или пятого раза Ага почувствовал, что Шакиру не нравятся эти разговоры о «штрафах», и он больше не собирается оплачивать их.

– Чего бы Аслан ни попросил, – сказал Ага отцу, – никогда не отказывай.

Слова его звучали как повеление, поэтому для Шакира они были законом. Шакир приписал их милосердию сына и принял их, но дело было в другом: Ага знал, что жить Аслану осталось меньше года – у него случится кровоизлияние в мозг, и через несколько дней он умрет в больнице.

Ага знал об этом, но никому не говорил, и все эти знания потихоньку наполняли его. Вначале он говорил своим посетителям все, что ему открывалось, но по мере того, как он рос и взрослел, начал понимать, что неправильно говорить человеку все, что его ждет в будущем, и вообще иногда ему казалось, что смерть – это конец отпущенного Богом человеку времени, и знать об этом часе может только Бог, но никак не человек.

Как и почему Ага тогда это понял?

Школу Ага не бросил, правда, это было в советское время – речь идет о 70-х годах прошлого века – несмотря на все трудности, с помощью Талыб-муаллима он закончил школу. Талыб-муаллим вот уже несколько лет был директором школы и его не раз вызывали в вышестоящие органы, даже в министерство образования по этому вопросу, но благодаря своему авторитету у начальства Талыб-муаллиму удавалось защитить Агу, и когда он, пожимая руку, вручал Аге аттестат зрелости, мальчик увидел в глубине глаз, глядящих на него сквозь толстые стекла очков, неизбывную, навсегда поселившуюся там печаль, и Ага в первый и последний раз в жизни соврал:

– Талыб-муаллим, Бехбуд многого добьется в жизни, станет большим человеком, заслужит всеобщее уважение...

От этих слов глаза Талыб-муаллима наполнились слезами, и его полные печали глаза засветились радостью и благодарностью. Бехбуд был младшим братом покойного Бадала и теперь уже единственным ребенком Талыб-муаллима. Ага соврал еще и потому, что точно знал, что у Бехбуда будет очень тяжелая, полная опасностей жизнь, и еще Ага знал, что Талыб-муаллим об этом никогда не узнает.

Ага, приезжающий в университет на собственной машине с шофером и вынужденный каждый день проходить сквозь толпу ожидающих его репортеров и те-

лежурналистов, смог проучиться только один семестр, потому что у руководителя кафедры атеизма, всегда внимательного к тому, как он выглядит, и одевающегося со вкусом и по последней моде, – надо же такому случиться, – фамилия была Агазаде, и профессор этот поднял шум («Как можно оставлять в университете этого афериста, этого гадальщика? В таком случае можете закрыть мою кафедру и открыть кафедру гадания, пусть студенты учатся и становятся аферистами!»)

Агу из университета отчислили.

Больше попыток поступить в какой-то университет Ага не предпринимал, но в его большом новом доме, построенном в поселке, была большая библиотека, и количество книг там с каждым разом увеличивалось, и Ага никогда не ставил на полку книгу, которую еще не прочитал.

Шакир, вложивший много сил и труда в строительство дома (делал он это с большим удовольствием), каждый вечер выходил на балкон второго этажа и, подняв голову к небу и сложив молитвенно руки, возносил Богу хвалу:

– Спасибо тебе, Господи!.. Спасибо!.. Спасибо!..

В один из вечеров, уже перед сном, Ага неожиданно крепко обнял отца, Шакир, растерявшийся от этого всплеска эмоций, тоже обнял сына – это было первое и последнее объятие отца и сына.

– Ага, – сказал Шакир, растроганный этим изъявлением чувств, – прости меня, я много боли причинил тебе, когда ты был ребенком, да и маме, сестрам...

Ничего не ответив, Ага поцеловал отца – это был первый поцелуй в их жизни – и ушел в свою комнату. А рано утром раздался крик Захры: ночью Шакир умер во сне. Сельчане похоронили его с большими почестями.

Когда Ага женился, свадьбу делать не стал, он зарезал десять коров и раздал нуждающимся в деревнях, раскинутых по всему побережью, а первенца своего назвал в честь отца Шакиром. Вообще, если одной из причин всеобщей любви и уважения к Аге был божий дар, то другой – присущие ему щедрость и сострадание.

Как-то раз одна из центральных газет СССР напечатала об Аге оскорбительный фельетон под названием «Новоявленный пророк», и тогда в редакцию, Политбюро, Брежневу было послано столько телеграмм с протестами, что дело это сразу в Москве и замяли. Почитание Аги возросло настолько, что советские партийные руководители, работники КГБ по ночам, чтобы никто не увидел и не узнал их, приезжали к Аге и в большинстве случаев в скором времени получали положительный результат от этих визитов.

Как-то, это было в 1981 году, несколько дней Ага никого не принимал, да и сам никому не показывался, разнесся слух, что московские кэгэбэшники увезли Агу на военном самолете в Москву, чтобы он осмотрел Брежнева. Правда это была или нет, но об этом говорили не только в поселке, но и во всем Баку, а в самом конце «перестройки», когда все советские газеты писали, что заблагорассудится, московские газеты вспомнили об этом факте и опубликовали сенсационные статьи, будто в 1981 году, следуя указаниям Аги, врачи вывели Брежнева из клинической смерти. Более того, журналисты обратились к главврачу Кремлевской больницы Евгению Чазову с этим вопросом, и тот ответил на него весьма уклончиво. После развала СССР и восстановления независимости Азербайджана Агу сравнивали с такими экстрасенсами XX века, как Ванга, Мессинг, Эдгар Кейси, Ури Геллер, и даже ставили Агу выше них. Из США приехала съемочная группа из ученых, операторов и режиссеров, несколько дней проводили эксперименты, сняли пятидесятиминутный фильм «Великий Пророк,

опровергший традиционную науку», завоевавший интерес и любовь зрителей, и за этот фильм Аге был выплачен гонорар в 475 000 долларов. Ага разделил эти деньги, часть отдал в бакинские детские дома, а другую часть через ЮНИСЕФ послал голодающим детям Африки.

Фильм, снятый московскими телевизионщиками под названием «Он и сам не знает, может, он пришелец с иной планеты», был удостоен в Израиле звания «Фильм года», а на Венецианском фестивале телевизионных фильмов завоевал самую высокую награду – приз «Хрустальная байдарка».

Ага никогда не говорил своим посетителям о продолжительности их жизни. Если была возможность избежать трагических событий, он предупреждал о них, если же нет – то вообще не говорил об этом, но как-то раз порог его дома переступил профессор Агазаде. Несмотря на все прошедшие годы, он, как всегда, был одет со вкусом и по моде, волосы аккуратно зачесаны, ногти ухожены, казалось, время совершенно не коснулось его. Единственное, что в нем изменилось, это то, что он стал одним из самых активных, даже агрессивных критиков Советского Союза.

– Здравствуй, как дела? – поздоровался он с Агой, как старый знакомый.

Выяснилось, что Агазаде посетил Агу в столь поздний час по важному вопросу:

– Ректор наш болен и написал заявление об увольнении. Рассматривается на его место и моя кандидатура. Я хотел бы узнать, получу я это назначение или нет?

Но кто знает, может, этот вопрос был лишь поводом, а на самом деле профессора привели любопытство и внутренний интерес, а еще и подсознательная необходимость. Ага посмотрел на него своими большими зелеными глазами.

– Да, вы получите это место, – сказал он и добавил совершенно неожиданно для себя, словно говорил не он сам, а кто-то другой, и в первый и последний раз сказал человеку о его смерти: – Но во время вашего представления коллективу вы умрете.

Вначале, когда профессор услышал добрую весть, его лицо озарилось счастьем, словно бутон цветка в вазе неожиданно раскрыл все свои лепестки, но последовавшие после этого слова заставили профессора Агазаде застыть на месте, и Ага ясно видел, как сильно забилось его сердце.

– Это не твоя вина, – сказал профессор, взяв себя в руки. – Это моя вина, что я пришел к такому шарлатану, как ты!

И, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

3. Тайна Аги

О смерти профессора Агазаде от сердечного приступа на представлении его коллективу в качестве нового ректора Ага прочел в газетах, и новость эта его очень расстроила, но в чем была его вина? Он сказал то, что увидел, и не было разницы, сказал бы он об этом или нет. Кто властен над жизнью или смертью?

В ту ночь пошел сильный дождь.

Ага, сидя у окна в своей комнате, смотрел, как дождевые струи бьют в стекло, и чувствовал муки профессора Агазаде, даже не то, чтобы чувствовал, но видел их.

Это была последняя ночь назначенного на должность ректора профессора Агазаде, и он никак не мог совладать со страхом смерти, все пытался убедить себя в том, что слова этого шарлатана, – то есть, Аги, – пустая болтовня, он всего лишь хотел отомстить за старое, но успокоиться все равно не мог.

Профессор размышлял верно: если Ага, даже неожиданно для себя, сказал ему открыто о часе смерти, значит, на протяжении всех этих лет в его душе жила жажда мести, и он воспользовался подходящим моментом.

Ага старался не заглядывать в будущее своих детей, но порой перед его глазами проходила вся их судьба со всеми подробностями, и жизнь Аги на самом деле была наполнена страданием и болью, так как ему приходилось жить с тем, что ему открывалось.

Профессор Агазаде умер в тот момент, когда получил то, о чем мечтал всю жизнь – почему? И Создатель мстил ему? Ведь человек не может выйти за пределы своей судьбы, если бы это было возможно, то Ага не мог бы видеть судьбы людей да и вообще предвидеть что-либо было бы невозможно.

Когда Ага смотрел на людей своими большими зелеными глазами, он видел не только их внутренние органы, но и их души, а душа профессора Агазаде была маленькой черной туманностью, но что с того?

И его, и тысячи других людей, приходящих к Аге, создал Творец, но для чего? Если все создано Богом, Высшей Силой, осознать могущество которого человеческий разум не способен, тогда почему души столь многих людей находятся в черном тумане? И порой эта туманность чернее угля. Почему Создатель, эта Высшая сила, позволяет этому случиться?

Казалось, все сомнения, размышления, разрывающие его мозг, все распирающие его чувства только и ждали смерти профессора Агазаде, и в эту ночь после его смерти поднялись в Аге, как лава в вулкане, и противостоять им он уже не мог.

Не мог или уже не хотел?

На протяжении всех этих лет он держал в себе все мучающие его вопросы, мысли и чувства, не позволяя им выйти наружу, потому что боялся их, никто, конечно, и не подозревал об этом, но это была правда: этот страх держал его в плену и он, глубоко одинокий в душе, жил с этим страхом. Кто бы поверил в это?

После полуночи весь поселок погрузился в темноту, только кое-где горели над воротами тусклые лампочки, дождь бил в окно, казалось, этот дождь звал его, Ага подошел к окну, но увидел в окне не поселковые дома, а себя.

Ему не хотелось смотреть на себя.

Ага не был уверен и в чистоте своей собственной души, он не мог видеть свою душу, хотя души других видел четко. В чем была причина? Почему был избран именно он? Может, на самом деле, как говорил молла Гурбан, это было какая-то дьявольская игра? Но что такое дьявольская игра? И тут Ага подумал, что люди все свои невзгоды и беды переложили на кошек и Дьявола, чтобы освободиться от ответственности.

Человек не хочет видеть и знать о внутренней своей черноте, поэтому и не видит ее, но у каждого дурного поступка есть оправдание. Кто такой человек, чтобы все было по его воле? Творец создал человека, и Он этого не хочет, тогда почему Он позволил Аге увидеть все это?

В эту ночь, когда дождь барабанил по стеклу, Ага хотел убежать от этих вопросов, но это было невозможно, и он осознавал это.

Почему Ага видел, кто, когда и как умрет, и не мог видеть того, что происходит с этими людьми после смерти? На протяжении всего этого времени он старался увидеть, что происходит с людьми после смерти, но когда он закрывал глаза, видел только серую пустоту, и все.

А после – несуществование? За этой чертой ничего больше нет, одна пустота?

Но если за чертой ничего нет, почему человек приходит в этот мир, и почему судьба его изначально предопределена? Потому что если бы она не была предопределена, то как бы Ага смог бы ее увидеть?

Ему вспомнились свои видения: он знал, что его мать Захра проживет сто семь лет, и это его радовало (Ага ничем не отличался от других людей, по крайней мере, сам он думал именно так). Но как-то ночью – за несколько лет до смерти профессора Агазаде – его посетило видение (так же, как когда-то в осеннюю ночь шестилетний Ага проснулся весь в поту и, сев в кровати, впервые увидел будущее): его мама, перешагнувшая свое столетие, смотрит на старую выцветшую фотографию давно уже умершего Аги и спрашивает: «Кто это такой?»

Если через пятнадцать-двадцать лет его собственная мать забудет его, тогда зачем он пришел в этот мир? Чтобы быть забытым через пятьдесят, пусть сто лет? Пусть даже не сто, пусть миллион?!

Ага посмотрел в ночное небо, откуда лил проливной дождь. В эту ночь небо растворилось в ночной темноте, но вдруг случилось нечто неожиданное: на какую-то долю секунды Ага увидел чистое небо, огромную луну и бесчисленное количество сверкающих звезд. Ага улыбнулся: что такое миллионы лет для Вселенной?! Ничто.

Ага вспомнил Слепую красавицу, словно она была одной из жительниц поселка – тихими шагами она прошла под дождем и села на скалу, носящую теперь ее имя. Ага чуть не закричал: что ты делаешь, простудишься, но это было всего лишь видением когда-то давно случившейся истории и никакого отношения к настоящей реальности не имело. Под дождем розовая рубашка девушки прилипла к телу, и ее упругие груди, руки, ноги, – все тело говорило о чистоте ее души. Ага почувствовал и увидел, что в этот миг Создатель вернул ей зрение, девушка подняла голову, посмотрела в небо и так же, как Ага, увидела чистое небо, луну и бесчисленные сверкающие звезды.

Впервые за долгие годы Агу захлестнула волна радости, но длилось это меньше мгновения, он понял, что девушка восприняла Божий дар, способность видеть это небо с луной и мириадами звезд как предательство по отношению к памяти матери – она вскочила и растворилась в темноте ночи.

Ага закрыл глаза и подумал, может, люди, для того, чтобы сохранить свою душу – неважно, чистая и светлая она или черная – должны держаться от него, от Аги, подальше.

4. Смерть Аги

13 августа 2011 года Аге исполнилось пятьдесят пять лет, для него самого эта цифра была каким-то удивительным чудом, потому что он до сих пор в мельчайших подробностях помнил тот осенний день, когда он, шестилетний, проснулся и спросил о покойном Аслане; удивительно, с тех пор прошло столько лет, а ему казалось, что все это было вчера.

Он был весь седой и выглядел намного старше своих лет, посетителям, жителям поселка – его ровесникам и даже тем, кто был намного старше него – он казался столетним старцем.

Иногда Ага вздрагивал, видя себя в зеркале, потому что маленький Аби всегда стоял перед его глазами.

В тот день, 13 августа 2011 года, взглянув на себя в зеркало, своим мысленным взором он увидел глаза маленького Аби, и в его душе поднялось не очень хорошее предчувствие, но потом все прошло.

Другим приятным событием этого дня стало то, что Захра, будто что-то почувствовав, поднялась с утра и приготовила плов, и вся их большая семья собралась за столом. Уже несколько ней Захра чувствовала себя плохо, ничего не ела, и дочери очень переживали за нее и успокоились только тогда, когда Ага просто сказал: «Не бойтесь!»

После чудесного выздоровления Захры, вторым приятным событием стало то, что у младшей дочери Аги, которая была беременна, начались схватки и ее увезли в роддом, а к вечеру пришло известие, что все хорошо, и вскоре он станет дедушкой еще одного внука.

Все началось после этого.

В тот вечер Ага больше никого не принял – ни посетителей, ни пришедших поздравить его с днем рождения, он чувствовал себя усталым (может, потому и чувствовал усталость, что никого в тот день не принял?). Совершенно неожиданно он вдруг вспомнил Бадала, сына Талыб-муаллима, наверное, на том свете они встретились, и Талыб-муаллим узнал, что Бадал не оступился, а бросился с крыши, но где он, этот «тот свет», и какой он?

В своей комнате на втором этаже Ага ходил из угла в угол. Каждый раз, когда он раздумьях расхаживал по комнате, домашние старались говорить шепотом и всю работу делать бесшумно, чтобы не мешать ему (хотя, что он особенного делал?), и сейчас во всем доме можно было услышать только его мягкие шаги.

Потом Ага отправился спать – он обычно ложился позже всех, он был жаворонком и спал не больше четырех-пяти часов, и сейчас 13 августа уже было вчерашним днем.

Когда Ага разделся и уже собирался лечь в постель, он вдруг замер, и перед его большими зелеными глазами появился его еще не рожденный внук, это был здоровый, красивый, всех радующий и всех любящий ребенок, в одно мгновение он вырос до семи лет, и вдруг неожиданно попал в автомобильную катастрофу и погиб в страшных мучениях.

Никогда Ага, за свою жизнь повидавший благодаря своему дару предвидения тысячи судеб, не испытывал такого потрясения, не потому, что погибший в таких мучениях семилетний ребенок был его внуком, а потому, что его мучил вопрос: почему этот ребенок, которому суждено так скоро и мучительно умереть, приходит в этот мир? Если грехи этого ребенка, совершенные им за отпущенные ему семь лет, заслуживают такой страшной смерти, то почему ему выпала такая греховная жизнь, почему эти грехи вписаны в его судьбу.

...Когда Ага вышел из дома, весь поселок еще спал.

Черная ненависть, как густой непроглядный туман, охватила всё его существо.

Ноги несли его к пиру «Korgözəlqız», и Ага знал это, но он не думал о том, почему идет туда, всепоглощающая ненависть уничтожила в нем все раздирающие его сомнения, размышления, мысли, переживания.

В ту душную августовскую ночь Ага задыхался, не хватало воздуха, но ему было все равно, он стремительно поднимался в гору, дойдя до пира, он, не останавливаясь, пошел дальше, поднялся на самую вершину горы и, сев на «Скале Слепой Красавицы», перевел дух.

Тишину ночи нарушал только доносящийся издалека гул моря. Все вокруг было окутано тьмой, Ага даже головы не поднял, чтобы взглянуть на небо. Он ко всему был равнодушен. Не было никакой разницы между душой Слепой Красавицы, сияющей чистотой, и черными душами, и Ага почувствовал себя вовлеченным в обман, в какой-то большой розыгрыш. Душа его пылала ненавистью к этой видимой и невидимой, огромной, как Вселенная, лжи, к этой лицемерной и циничной игре, и ненависть эта в Аге была столь сильной, что не он сам, а эта клокочущая ненависть подняла его со «Скалы слепой красавицы» и повела к ночному видению шестилетнего Аби.

5. Эпилог

Вся пресса, все сайты, телеграфные агентства сообщали об исчезновении Аги 13 августа 2011 года. Прокуратура даже открыла уголовное дело. Дети Аги обращались за помощью к знаменитым экстрасенсам.

Но все было безрезультатно.

Кладбищенская история

1

...затем с моря подул легкий весенний бриз, и этот весенний ветерок распространил по округе запах цветов, будто это было не кладбище, а красивый горный склон с лугами, поросшими цветами – как склон горы возле самого их села, где прошло и детство, и юность, и молодость Шолу.

На кладбище бывает два типа цветов: растущие вдоль асфальтовых дорожек и вокруг могил и цветы, которые приносят посетители к месту упокоения их родных и близких (некоторые из букетов оставляли на могильных плитах прямо в целлофане, не разворачивая), не знаю, как другие кладбищенские служащие, но Шолу чувствовала разницу между этими цветами – цветы с отрезанными стеблями, купленные в киосках, пахли печалью, скорбью, тоскою, но когда дул ветер с моря, он словно уносил все эти горести и печали, и тогда по кладбищу распространялся аромат живых цветов.

Иногда Шолу казалось, что аромат этих цветов чувствуют и покойники, запечатленные на могильных камнях, их души тоже наслаждались этим запахом, и в тот весенний день, когда она мыла шваброй могильный камень покойного Мухтара киши, Шолу опять почудилось, что взирающий на нее с камня Мухтар киши улыбался, наслаждаясь цветочным ароматом, принесенным ветерком. Мухтар киши прожил восемьдесят восемь лет и с фотографии, снятой уже в пожилом возрасте, он с хитрой улыбкой взирал на этот мир, который оставил сорок лет назад, видимо, был он кутила и весельчак. Под фотографией на камне были выбиты годы его жизни:1888 – 1976, получалось, что Мухтар киши был, если так можно выразиться, старожилом этого кладбища, потому что это кладбище, прозванное в народе «Вороньим кладбищем», было заложено в середине 70-х годов – еще в советское время.

Кладбища этого города устарели – ни мест для захоронений уже не было, ни порядка никакого, всех хоронили, как придется, могилы копались впритык друг к дружке, и правили там только неграмотные, полуобразованные моллы и вороны, облюбовавшие себе деревья, возраст которых уже и невозможно было вычислить

Коммунистическое руководство, увидев состояние дел, решило создать образцовое кладбище, для чего была выделена земля в нижней части города – между холмом, прозванным в народе «Вороньим», и морем создали маленькое предприятие, выделили штатные единицы. Среди горожан это место получило название «Воронье кладбище», и хотя люди старались хоронить своих усопших на старом кладбище, рядом со своими предками, но и новое кладбище постепенно разрасталось. После распада Советского Союза здесь начались беспорядки, но постепенно все успокоилось, особенно когда директором кладбища стал Гияс-муаллим – после этого «Воронье кладбище» в самом деле превратилось в образцовое городское кладбище.

Могила Мухтара киши была единственной, при уборке которой на душе у Шолу становилось легко, вся печаль, осевшая у нее в душе за долгие годы работы на этом кладбище, улетучивалась, и сейчас Шолу, глядя на хитрую улыбку Мухтара киши, спросила его в душе: «Ну, как дела, мужик? Тебе и там весело, или нет?»

Эта кладбищенская печаль уходила на короткое время, но потом вновь возвращалась.

И тут раздался хриплый голос Гияс-муаллима, совершенно несовместимый с ароматом цветов, распространяемым весенним ветерком:

– Сулейманова!..

– Этот, по которому плачут мойщики трупов, зовет тебя... – сказала тетя Зиба, убирающая могилы двумя рядами ниже.

– Да, слышу... – сказала Шолу.

Шолу вспоминала свою фамилию только тогда, когда ее звал Гияс-муаллим.

– Так зовет, как будто он, по меньшей мере, замминистра... – это опять ругала Гияс-муаллима Зиба, в ее понимании, видимо, никакой другой вышестоящей должности вообще не существовало: «Подумаешь!.. Можно подумать, замминистра!..»

Тетя Зиба была горской еврейкой, но знала азербайджанский лучше азербайджанцев и работала тут со дня закладки кладбища, если и был кто-то, откровенно интриговавший против Гияс-муаллима, то это Зиба. По правде говоря, среди работников «Вороньего кладбища» никто особо не любил Гияс-муаллима. Этот смуглый, с большим носом, худощавый человек пятидесяти семи, пятидесяти восьми, а может, и шестидесяти лет с вечно невыглаженным воротником рубашки и одним и тем же старым галстуком, с острым кадыком на худой шее, покрытой морщинистой кожей, который ходил вверх-вниз, когда он глотал слюни, никогда не улыбался, по какой-то причине Бог не наделил его абсолютно никаким обаянием.

Раздался опять голос Гияс-муаллима, нарушая идиллию весеннего ветерка и цветочного благоухания.

– Сулейманова!..

– Иду, Гияс-муаллим, иду, – прокричала в ответ Шолу и лукаво улыбнулась и Мухтару киши, и даже самому Гияс-муаллиму.

Ее настоящее имя было Шёле (Şölə), и ей в голову никогда не могло прийти, что она когда-нибудь будет работать уборщицей на кладбище, но что в этом мире зависит от человеческого желания? Ничего. И если все подвластно времени, то над временем не властен никто, оно пролетает, как птица: уже десять лет, как она работает тут. Последние семь из этих десяти лет прошли под руководством Гияс-муаллима, а до этого на «Вороньем кладбище» чуть ли не каждый месяц меняли начальника, и никто не сомневался в том, что Гияс-муаллим будет начальником их маленького управления до конца своей жизни.

В обеденный перерыв, с часу до двух, Гияс-муаллим строго следил за тем, чтобы в это время все веники, швабры и другие орудия их труда были аккуратно сложены у стенки в коридоре, и когда работницы, разогрев принесенный из дома обед, садились есть, тетя Зиба говорила: «Этот сукин сын (то есть Гияс-муаллим) даже когда умрет, отсюда не уйдет, здесь его и похоронят».

– Тетя Зиба, – отвечала в шутку Шолу, – я помирю вас с Гияс-муаллимом.

– Вот еще! Да покарает его Бог! Можно подумать, он тебя ценит? С утра до вечера горбатишься тут! То эту могилку прибери, то там подмети!.. Ты хотя бы одно ласковое слово от него слышала, а? Жди, как же, услышишь!.. Когда я умру, он даже на поминки не придет!.. Ну и черт с ним! Ему лишь бы, – тетя Зиба передразнивает его: – «Сулейманова, где ты, иди помой тут все! Слушай, Ханукова, если еще раз опоздаешь, лучше больше не появляйся тут!..» Щас тебе!..

Ханукова – это фамилия тети Зибы (Гияс-муаллим всегда своих работников называл по фамилии), ей уже за семьдесят, может, поэтому, а может, и нет, она часто говорит о смерти. У нее было двое детей: сын Семен (Зиба часто говорила о нем: «Что мне нужно?! Ничего! Дай бог здоровья Семену!») переехал с семьей в Израиль и, по ее словам, работал там поваром в одном из больших ресторанов; благодаря азербайджанским блюдам, которые он готовил там – плов, долму, хаш, чыгыртму, дюшпере и гутабы – у дверей этого ресторана вечно стояла очередь, и дочка, которая вышла замуж за американского негра и жила в Пенсильвании. И дочь, и сын всё звали тетю Зибу к себе, но та не хотела никуда ехать: «Я жить вдалеке от Азербайджана не смогу!» – говорила она, и никто не сомневался в искренности ее слов. Семен не хотел, чтобы тетя Зиба работала уборщицей на кладбище, но та говорила, что она привыкла к этой работе, и Шолу казалось, что в этих словах есть какая-то печаль, ведь ее тут, на «Вороньем кладбище», не похоронят, в городе есть отдельные кладбища: еврейское, мусульманское и христианское, и как бы ни старалась советская власть на протяжении всех семидесяти лет ликвидировать такое разделение кладбищ, сделать это так и не удалось.

Шолу тоже была немолода, в этом году ей должно было исполниться пятьдесят лет, и она, как Зиба, тоже жила одна (вообще казалось, что это кладбище – приют одиноких людей), сын ее жил в России, служил в Барнауле полицейским, женился там на русской девушке, у них было двое детей, но Шолу еще не видела своих внуков – сын не приезжал, только писал письма: «как ты, в Новруз приеду...» Но эти обещания заканчивались тем, что он просто присылал на праздник подарок: платок, кофту или шерстяной джемпер, и каждый раз Шолу казалось, что сын ее втайне от жены откладывает деньги, чтобы потом так же втайне купить подарок и отослать ей.

У дочери ее дела шли неплохо, она была учительницей младших классов, семь лет назад закончила Педагогический университет и получила направление в один из районов республики, там и встретила врача-ветеринара, хорошего человека, вышла замуж, у них родилось двое детей, и Шолу два-три раза в год виделась с ними: по воскресеньям, когда ей не выпадало дежурство, она отпрашивалась у Гияс-муаллима на один день, заранее собирала гостинцы: печенье, московскую колбасу и другие городские вкусняшки и рано утром в субботу садилась на автобус, через пять часов доезжала до райцентра, там брала машину, которая и довозила ее до деревни, где жила дочь, на следующий день вечером она отправлялась в обратный путь, доезжала до Баку уже ночью, а утром к девяти часам была на работе.

– Где ты там, Сулейманова?

– Да иду я, Гияс-муаллим... иду... – поднявшись торопливо по откосу с шваброй в одной руке и с ведром, наполненным наполовину водой – в другой, она, запыхавшись, остановилась напротив Гияс-муаллима.

– Ты что, не слышишь, что Гияс-муаллим зовет тебя, – сказал он, держа в пальцах сигарету. Он всегда говорил о себе в третьем лице.

– Я вытирала пыль с могилы Мухтара киши...

– А ты ни о ком, кроме Мухтара киши, и думать не можешь, – сказал он, глядя на раскрасневшиеся от быстрой ходьбы полные, гладкие щеки Шолу, и сглотнул слюну, при этом острый кадык заходил под сморщенной кожей.

Гияс-муаллим, можно сказать, знал всех усопших на своем кладбище, кто в каком ряду лежит и какими соседями окружен. Обычно при упоминании Мухтара киши у всех работников кладбища на лице появлялась улыбка, только Гияс-муаллим всегда оставался неизменно серьезным, и сейчас он только протянул длинные худые пальцы к могиле, напротив которой стоял:

– Ты что, не видишь, как выросли ветки у этого оливкового дерева?

Это была могила пятидесятилетней – почти ровесницы Шолу – несчастной Сакины Нофель гызы, ветка оливкового дерева, растущего на краю могилы, протянулась прямо к могильному камню и загораживала имя покойной.

– Почему ты не срезала эту ветку, – указывая сухими длинными пальцами на ветку и кашляя, сказал Гияс-муаллим. Это был не обычный кашель курильщика, видимо, он простыл.

– Гияс-муаллим, я хотела срезать, но потом подумала, что ее муж приходит сюда через каждые два дня, вот и решила вначале ему сказать, а потом уж...

Муж Сакины Нофель гызы действительно часто приходил навещать могилу жены и каждый раз приносил красные розы, которые аккуратно раскладывал на могильном камне, потом, встав напротив могилы и наклонив низко голову, почти полчаса (а иногда и дольше) стоял недвижно.

– Ладно, – подумав немного, кашляя, сказал Гияс-муаллим, вняв словам Шолу.

Шолу опять пошла вниз, к могиле Мухтара киши, чтобы, закончив там уборку, перейти к очередной могиле.

– Сулейманова!.. – опять послышался голос Гияс-муаллима сзади.

– Да, Гияс-муаллим... – остановившись, обернулась Шолу.

Гияс-муаллим вначале несколько раз сглотнул слюну, и даже на таком расстоянии было видно, как его кадык заходил вниз-вверх.

– Смотри, только не забудь!

– Не беспокойтесь, Гияс-муаллим.

Вытирая шваброй могильный камень Мухтара киши, она еще раз взглянула на его фотографию с улыбающимся лицом и подумала о том, что если бы завтра, в воскресенье, она не дежурила, то отпросилась бы у Гияс-муаллима и поехала бы повидать внуков. Так же, как и в поликлиниках и больницах, на кладбище еще с советских времен была шестидневная рабочая неделя, и правило это было введено не Гияс-муаллимом, но он ввел еще одно правило: каждое воскресенье кто-нибудь из уборщиц должен был обязательно выходить на дежурство и заниматься уборкой, чтобы поддерживать чистоту и порядок. Нельзя было пускать тут все на самотек – люди умирают, невзирая на дни недели, и Гияс-муаллим составил таблицу-расписание, по которой уборщицы по воскресеньям выходили на работу, и по нему завтра была очередь дежурить Шолу.

Морской ветерок угас так же неожиданно, как и появился, унеся с собой и запахи растущих цветов. Запахи уже увядших цветов, принесенных посетителями, опять смешались, Шолу показалось, что и деревья с уже с набухшими почками тоже как-то сникли оттого, что ветерок унес нежный запах весенних цветов, и их окутало невидимое темное покрывало печали, обычное для этого места и зимой, и летом, и днем, и ночью, и когда небо было чистым, и когда его заволакивали тучи, весеннее оживление и радость сменяла откровенная тоска.

А тут еще и Гияс-муаллим – кажется, он не на шутку простудился, кашель его усилился, и этот хриплый кашель, разносящийся по всему кладбищу, только усиливал тоску, словно вобрал в себя всю тоску, опустившуюся на это место. Штат работников «Вороньего кладбища» состоял из четырех уборщиц, рабочего, который поливал цветы и деревья, и начальника Гияс-муаллима, но, по словам тети Зибы, в советское время штат был намного больше, уж не знаю, правда это или нет, но тетя Зиба божится, что одна из уборщиц кладбища – сейчас она уже ушла в мир иной – была даже избрана депутатом городского совета.

Была в штате «Вороньего кладбища» еще одна штатная единица – охранник, и Гияс-муаллим, согласовав первоначально этот вопрос с руководством города, взял на себя эти обязанности, но эту дополнительную зарплату Гияс-муаллим брал не себе, а основал на кладбище «Благотворительный фонд» и переводил эти деньги на счет Фонда, руководителем, секретарем и бухгалтером которого тоже был он сам, и каждый праздник – Новый год, Новруз-байрам и в День Республики – он раздавал работникам от имени этого Фонда подарки.

Гияс-муаллим по всем правилам завел толстый «Журнал Фонда», куда записывал, кому какие подарки выдавались, их стоимость и дату выдачи, а работники при получении даров, расписывались в нем.

Порой Шолу подначивала тетю Зибу:

– Вот видишь, тетя Зиба, – говорила она, – он даже свою зарплату на нас тратит. Сам ходит, выбирает нам подарки. Что ты на это скажешь?

– Подумаешь, – отвечала Зиба. – А что за духи он мне подарил?! В советское время эти духи использовали мужские парикмахеры...

Шолу смеялась и думала (но не говорила вслух), что, видимо, старушке хочется французских духов. Даже если бы Гияс-муаллим купил бы для тебя французские духи, то куда они тебе, тетя Зиба?

Кажется, была еще одна причина, по которой Гияс-муаллим взял на себя должность охранника – он жил прямо тут, на кладбище: маленькое административное здание кладбища состояло из узкого коридора и трех комнат с такими же узкими дверями; первая была комната для уборщиц, вторую использовали как склад, там стояли ведра, веники, висела рабочая одежда, а третья комната была и кабинетом, и домом Гияс-муаллима.

Ровно в шесть часов – наблюдение за этим входило также в обязанности Гияс-муаллима – работники уходили домой, а Гияс-муаллим оставался на кладбище, и никто, даже тетя Зиба, не знал, почему этот человек такой одинокий, почему к нему никто не ходит? В обеденный перерыв, когда работники убивали время за болтовней, тетя Зиба говорила: «Разве не знаете, что на старом мешке новая заплатка не держится? Ему лишь бы нам приказы отдавать. Сукин сын, ведет себя, как замминистра!..»

2

Дом Шолу находился поблизости от кладбища – на другой стороне холма, недалеко от моря, – но кладбища оттуда видно не было, в противном случае ее муж тут дом строить не стал бы, покойный боялся кладбищ и всего, что касается смерти, и Шолу всегда думала: хорошо, что покойный не болел. Одиннадцать лет назад... нет, вот уже двенадцать лет назад он, как обычно, возвращаясь домой на метро, неожиданно умер, видимо, зная его страх перед смертью, Бог послал ему быструю и безболезненную смерть. Муж был старше Шолу на целых семнадцать лет, человек тихий, очень хороший телевизионный мастер, он зарабатывал по тем временам неплохо. Родом они были из одной деревни, он приехал домой, сыграл свадьбу и увез Шолу с собой в город, ей тогда было восемнадцать лет, вначале они жили на квартире, потом покойный купил тут участок земли и сам построил дом – человек он был трудолюбивый и руки у него были золотые. Умер он неожиданно и не увидел, как жизнь вдруг резко изменилась в худшую сторону, будто ждала, когда он покинет этот мир...

В тот весенний день, когда она вошла во двор, ее встретило куриное кудахтанье, – Шолу держала кур, – старая черная курица, кудахча, встретила ее недовольным взглядом.

– Глупая, это же я!.. – сказала Шолу и рассмеялась.

На самом деле, трудно на всем свете найти более глупое существо, чем курица – а эта старая черная курица, которая жила у Шолу с рождения, ела из рук Шолу зерно, хлеб, тем не менее не признавала свою хозяйку: каждый вечер, когда Шолу возвращалась домой, она, задрав голову, недовольно окидывала её взглядом.

Накануне Шолу готовила котлеты, две из них она сегодня взяла с собой на работу, а две другие – оставила на ужин, но в этот весенний вечер котлет ей не хотелось, она прошлась немного по своему хозяйству и пошла в баньку; натирая себя мочалкой, она опять вспомнила с детства врезавшийся в память тот красивый цветущий луг на склоне горы, луг, мимо которого протекала их деревенская речка Дуручай. Летом, когда Шолу было 14-15 лет, она, сидя на берегу, мыла ноги, и иногда, когда она краешком глаза замечала мальчишек, ее ровесников, которые, прячась за деревьями, наблюдали за ней, делала вид, что не видит их, и задирала подол своего платья еще выше, поглаживая мокрыми руками ляжки, и ее белая гладкая кожа сверкала на солнце.

3

К утру дым и копоть от проезжающих мимо машин и работающих заводов и фабрик рассеивался, и можно сказать, что Шолу каждый день – по меньше мере, в моей памяти это запечатлелось именно так, – встав с постели, первым делом открывала окно, выходящее на улицу (во дворе и по утрам пахло курами), и, выставив вперед упругие, словно мячи, груди, глубоко вдыхала запах моря.

И то воскресное утро началось точно так же.

Из того окна моря видно не было, но по ночам, когда, раздевшись, Шолу ложилась в постель, она крепко закрывала глаза и, чтобы в голову не лезли разные мысли, слушала гул морских волн, отчетливо слышавшийся в ночной тишине, так под этот звук и засыпала.

Впервые увиденное ею в восемнадцать лет море стало ей родным и близким, его звуки сопровождали ее и днем, и ночью.

В то воскресное утро, когда Шолу пришла на работу, она не увидела Гияс-муаллима, стоящего, как обычно, у ворот, поглядывая на часы (он всегда стоял у ворот и следил за тем, приходят ли дежурные на работу вовремя), и, хотя Шолу уже десять лет работала тут, мертвая тишина и безлюдье на кладбище в это весеннее утро наполнили ее душу страхом. Она поспешила к зданию администрации и, войдя туда, услышала кашель Гияс-муаллима, от этого все ее страхи мигом улетучились – если Гияс-муаллим тут, значит, все в порядке, кладбище не безлюдно, а стало быть, и бояться нечего.

Шолу сняла куртку, надела свой синий рабочий халат и, пройдя во вторую комнату, взяла ведро и швабру. В кладовке кашель Гияс-муаллима слышался еще сильнее, кажется, начальник заболел серьезно, но она не решилась постучаться в его комнату и спросить, как он себя чувствует.

Да, все страхи ее ушли, но легче ей стало только после того, как она, протирая надгробные памятники, подошла к могиле Мухтара киши и спросила громко:

– Ну, здравствуй. Как у тебя с настроением сегодня, хорошо все?

И тут ей подумалось: может, в этой тишине, когда вокруг ни души, Мухтар киши на самом деле ответит ей с небес (по ее коже побежали мурашки), что тогда делать? Убежать или закричать и позвать Гияс-муаллима?

Шолу посерьезнела и начала вытирать влажной тряпкой и без того чистое надгробье Мухтара киши, она была напугана неожиданно появившейся у нее мыслью и старалась не смотреть на улыбающееся лицо Мухтара киши, и впервые у нее промелькнула мысль: «А этот Мухтар киши – человек все же бесстыжий...» Она рассердилась на себя за такие мысли, более того, у нее в душе зародилось какое-то беспокойство – если духи на самом деле существуют, наверное, они могут и мысли читать – но Шолу не хотела, чтобы Мухтар киши на нее обиделся и сказала мысленно: «Ладно, Мухтар киши, это была шутка...» Потом она начала ворчать про себя: вот, надо же прийти сюда в воскресенье и думать про такие глупости, а тетя Зиба, наверное, сейчас по скайпу (это слово она узнала от тети Зибы) разговаривает с Семеном, ты только подумай, какой он сын, приехал, купил тете Зибе компьютер, научил ее пользоваться скайпом. Старухе сто девяносто лет, а она этот компьютер знает вдоль и поперек, а Шолу до сих пор толком не умеет мобильным телефоном пользоваться. Ее вдруг стал распирать смех: если бы тетя Зиба узнала, сколько лет она ей приписала, она бы больше никогда на стала бы с ней здороваться и начала бы такую интригу против Шолу, что ее козни против Гияс-муаллима просто померкли бы.

Ей вдруг захотелось, чтобы с моря опять подул ветерок, принес запах распустившихся весенних цветов и деревьям с набухшими почками стало бы веселей – но где он, этот исполнитель желаний человеческого сердца? Существует ли такая сила? А из-за того, что Гияс-муаллим сегодня не обходил могилы, куря одну за другой сигареты, запах увядших цветов на «Вороньем кладбище» казался еще более тяжелым и стойким.

Никто из работников «Вороньего кладбища» не видел, чтобы Гияс-муаллим что-нибудь готовил себе, или стирал, или даже пил чай. Во время обеденного перерыва он уходил к себе в кабинет, закрывал дверь, и все думали, что он все свои дела делает или рано утром, до девяти часов, или вечером, после шести. В тот воскресный день, вытерев памятник Мухтара киши, Шолу начала переходить от памятника к памятнику, вытирая и приводя их в порядок, но из-за отсутствия Гияс-муаллима на территории кладбище казалось одиноким и бесхозным. Шолу прошла по рядам и

вышла к задней стороне административного здания, посмотрела в сторону окна начальника, но окно так плотно было занавешено, что увидеть что-то было невозможно.

Неважно, хороший был Гияс-муаллим или плохой – Бог ему судья, но все же он человек. Шолу прошла к входу в здание, опустила на землю ведро, наполовину наполненное водой, прислонила швабру к стенке и прошла внутрь, постояла в узком коридоре. Послышался хриплый кашель Гияс-муаллима, затем все стихло, и в здании наступила нехорошая тишина. Шолу сделал пару шагов к кабинету и остановилась у самых дверей; вновь послышался хриплый кашель Гияс-муаллима.

Не все же тихо умирают в метро...

Вдруг ее охватило волнение, она и сама не поняла, как постучала в дверь:

– Гияс-муаллим!.. Гияс-муаллим!..

Ответа не последовало.

– Гияс-муаллим!.. – с еще большим волнением и испугом позвала она. – Это я, Шолу...

Гияс-муаллим не отвечал.

Охваченная страхом, она толкнула дверь, которая оказалась незапертой и со скрипом открылась.

Гияс-муаллим сидел в трусах и майке на краю старого дивана, который служил ему кроватью, и, держа в костлявых пальцах сигарету, ладонью вытирал слезящиеся глаза и текущий нос, в комнате стоял густой дым от сигарет. Шолу показалось, что она находится в каком-то нереальном мире, и все, что она видит, происходит не здесь, а в том загадочном мире. И голос Гияс-муаллима, казалось, звучал не на «Вороньем кладбище», а из того непонятного мира:

– Шолу...

Впервые Гияс-муаллим назвал ее по имени, и то, что впервые за семь лет он произнес ее имя, вернуло Шолу из того странного и непонятного мира в реальность. Быстрыми шагами она прошла к окну, отдернула занавеску, взялась за ручку и с силой дернула её на себя, окно со скрипом открылось, может, впервые за семь лет.

Затем она подошла и встала перед Гияс-муаллимом.

– Что случилось, Гияс-муаллим? – спросила она с еще не прошедшими волнением и страхом.

Дым в комнате стал рассеиваться, и стало четко видно, как Гияс-муаллим блестящими влажными глазами смотрит на Шолу. Ее охватило волнение, перед глазами вдруг встала ее черная курица с вечно недовольным взглядом, но во взгляде Гияс-муаллима не было недовольства, напротив, только откровенная печаль и беспомощность.

Гияс-муаллим какое-то время смотрел на Шолу.

– Шолу, – сказал он дрожащим голосом. – Какая разница между мной и уличным псом?.. А?!. Ну скажи, скажи, какая разница?..

От этих слов голова Шолу вообще пошла кругом, она совсем растерялась.

– Как уличный... – хриплым и все больше дрожащим голосом говорил Гияс-муаллим. – Как уличный пес... если упаду и умру... кто об этом узнает, а?.. Кто?.. Никто...

Вдруг Гияс-муаллим схватил Шолу за руку, и она на своей полной гладкой руке ощутила пропахшее сигаретами дыхание Гияс-муаллима, казалось, это дыхание исходило из какого-то другого существа и как легкий морской бриз скользило по коже. Он притянул Шолу к себе, и она села рядом с ним на диван, под весом упитанного упру-

гого тела Шолу старый, оставшийся еще с советских времен диван издав жалкий звук, просел. Гияс-муаллим уткнулся головой в полные, теплые груди Шолу, закрыл глаза, от дыма сигареты, которую он продолжал держать в пальцах, ее глаза начали слезиться, Шолу как-то ослабела, сердце ее сжалось, и слезы потекли уже от жалости.

Чем сильнее худое тело Гияс-муаллима жалось к Шолу, тем сильнее она чувствовала, как бьется его сердце под торчащими ребрами.

Прошло какое-то время, потом Гияс-муаллим хриплым, но уже не дрожащим голосом сказал:

– Шолу...

– Что...

– Завтра... Пойдем завтра в загс!..

4

В то воскресенье Шолу вернулась домой к десяти часам вечера.

Куры, так и не дождавшись хозяйку, заснули в курятнике голодные, когда Шолу вошла во двор, они ворчливо покудахтали немного и умолкли.

Шолу открыла во дворе кран, ополоснула руки и мокрыми руками провела по лицу, ей вспомнилась речка Дуручай, протекающая мимо цветущих лугов, даже показалось, что эта вода, которой она сейчас умылась, вода не из крана, а из их прохладной речки. Давно она уж не вспоминала Дуручай, луг, который она огибала, и то, как четырнадцати-пятнадцатилетней девчонкой мыла ноги в ее водах, все это осталось далеко в прошлом. Ей подумалось: «Да, все это так, но это жизнь и всякое бывает...»

Шолу постояла немного, задумавшись, потом, не проходя в дом, села у на деревянную табуретку возле крана.

Небо было чистым, светил месяц, кое-где блестели звезды, и в этой тишине слышен был только гул морских волн.

Шолу вспомнила мужа Сакины Нофель гызы, который через каждые два дня приходил на кладбище к жене, приносил красные розы и аккуратно раскладывал их на могиле, и подумала, что если завтра или послезавтра он опять придет с красными розами, надо спросить у него разрешения срезать ветку с оливкового дерева.

Что же касается тети Зибы, конечно, она будет ошарашена. Дай ей, Господи, долгой жизни, пусть живет больше ста девяноста лет, но если она когда-нибудь умрет, то Гияс-муаллим обязательно пойдет на ее поминки.

Потом Шолу подняла голову, поглядела на луну, звезды, и вдруг ей показалось, что Мухтар киши смотрит на ее с неба и улыбается.

Губы Шолу в ответ тоже дрогнули в улыбке.

Миссия

Памяти Мусы Намазова

...затем он снова улыбнулся: это утро будет таким же, как все остальные. Как всегда, он встанет с постели, как всегда, примет прохладный душ, потом пройдет на кухню и, как всегда, заварит зеленый чай, намажет масло на ломтик черного хлеба

и положит на него кусочек сыра, как всегда, со стаканом горького чая съест свой бутерброд. И, как всегда, чтобы не разбудить Фирузу, осторожно выйдет из дома и отправится в университет… Только… только теперь не все, как всегда. Прежняя жизнь навсегда осталась в прошлом. Теперь для Сафи Гадирли – философа, кандидата физико-математических наук – начинается новая жизнь. И не только для него, но и для всего человечества, новая жизнь, которой никто не мог и представить.

Очнувшись от короткого сна в кресле за письменным столом, – на самом деле это был даже не сон, а состояние между сном и бодрствованием, дремота, – Сафи Гадирли откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и, раскинув руки в стороны, потянулся, чтобы размять мышцы. Он посмотрел на спящую в кровати Фирузу и словно впервые заметил в ее каштановых волосах серебряные нити, на мгновение его сердце сжалось, но тут же отпустило, потому что в появившейся проседи в любимых волосах Фирузы уже ничего тревожащего не было, и еще потому, что теперь все было ясно – этой ночью, этой незабываемой ночью, философ, кандидат физико-математических наук Сафи Гадирли после многих лет научных поисков, расчетов, а по сути, после научных пыток и потрясений, наконец узнал, в чем состоит миссия человека а, в целом, и жизни, в этом мире.

Сафи Гадирли снова вспомнил траурную церемонию, свидетелем которой он стал много лет назад: молодой человек, живший по соседству, утонул в море. Когда его тело нашли и привезли домой, в квартире поднялся такой крик, что ученик восьмого класса Сафи пришел в ужас: если люди умирают, тогда в чем смысл жизни, если есть смерть, то как люди могут смеяться, почему они учатся, работают, достигают невероятных высот, ведь впереди их всех все равно ждет смерть? Все заканчивается, человек должен исчезнуть, превратиться в ничто, а он тешит себя пустыми надеждами, обманывает себя, что будет жить в прекрасных воспоминаниях, и не понимает, что по сравнению с миллиардами лет эти воспоминания и гроша ломаного не стоят, эти воспоминания бессмысленны и ничтожны.

Сафи Гадирли, уже в раннем детстве сильно отличавшийся от своих сверстников, в четыре года выучил азбуку и начал читать книжки не по возрасту, во втором классе с легкостью решал математические задачи для шестых, седьмых, а иногда и восьмых-девятых классов, пережив ужас тех траурных дней, разрушивших весь его внутренний мир, с ужасом всматривался в лица людей и задавался вопросом: разве эти люди не знают, что существует смерть, разве они не понимают, что такое смерть, как они могут спокойно спать, ходить на работу, есть, пить, ведь всех их ждет полное забвение!

Столкнувшись с этой мучающей и всеразрушающей проблемой лицом к лицу, Сафи Гадирли ни с кем не мог поделиться своими мыслями, лишь по ночам, когда ложился в постель, он неожиданно для самого себя начал делиться своими переживаниями с Богом, задавал ему вопросы в надежде получить ответы, которые могли бы хоть как-то удовлетворить его, но утешения никакого не было, и каждое утро он открывал глаза, охваченный жутким страхом и тревогой.

Никто не знал о беспомощных и отчаянных переживаниях, раздирающих Сафи, только учитель физики Мовсумзаде почувствовал что-то неладное: «Что с тобой происходит?», и Сафи, ученик восьмого класса, словно только и ждал этого вопроса, внезапно, задыхаясь, заплакал навзрыд. «Мы все умрем…» Такое состояние любимого ученика очень удивило Мовсумзаде, и он попытался его успокоить: «Жизнь дана человеку, чтобы жить, и ты должен честно прожить эту жизнь, стать достойным граж-

данином своей Родины и оставить о себе хорошие воспоминания, чтобы тебя вспоминали с добром», но сам Мовсумзаде понимал, что все эти слова пусты, не имеют никакого значения и уж точно не помогут Сафи справиться с тем потрясением, которое он переживал в душе. «Послушай, – сказал он, – у знаменитого американского писателя Джека Лондона есть рассказ «Любовь к жизни», я расскажу тебе о нем». И действительно, эта история тронула Сафи больше, чем все предыдущие слова Мовсумзаде, а в конце Мовсумзаде сказал: «Я знаю, ты будешь великим физиком, большим ученым, в этом нет никаких сомнений, когда ты поступишь в университет, и начнешь глубже изучать физику, ты увидишь, что наука объясняет все». В девятом классе Сафи сдал все экзамены экстерном и окончил школу с отличием, стал самым юным студентом республиканского университета. Учась на физическом факультете, он убедился, что физика действительно объясняет все, вплоть до закона, по которому яблоко, оторвавшись от ветки, падает на землю.

Студент третьего курса Сафи больше не разговаривал с Богом, потому что физика давала ответы на все вопросы, и для него, вновь сдавшего на четвертом курсе все экзамены экстерном и окончившего университет раньше своих сокурсников на год, тайн больше не было, его научные статьи публиковались не только в Азербайджане, но и в самых влиятельных научных журналах зарубежных стран, во многих университетах мира, даже в Гарварде, они становились предметом обсуждения.

Аспирант Сафи Гадирли стал получать письма от лауреатов Нобелевской премии Джерома Айзека Фридмана (США), Пьера Джил де Джена (Франция), Жореса Алферова (Россия), Масатоси Косиба (Япония) и других известных ученых, и интерес этих великих физиков к его научным исследованиям и идеям распространился по всему Азербайджану, но чем больше Сафи Гадирли занимался теорией и философией физики, чем больше углублялся в физику, тем его собственные знания становились все более беспомощными, потому что в этих глубинах всплывали такие вопросы, перед которыми и физика, и математика были беспомощны. Защитив кандидатскую диссертацию и став кандидатом физико-математических наук (эта защита также получила отзыв в международном научном мире!), Сафи Гадирли встретил Фирузу, они поженились, и в одну из прекрасных ночей, глядя на мирно спящую рядом Фирузу, на ее красивое лицо, на ее полные, белые и теплые груди, он подумал, как когда-то, будучи учеником восьмого класса: почему этот безгрешный и любимый им человек, полный чистоты и изящества, пришел в этот мир и почему должен умереть? Что останется от стихов Фирузы, или даже от самой Сафо через тысячу лет, десять тысяч лет и миллионы лет? Но миллионы лет для Вселенной меньше одной миллионной доли секунды. Неужели с самого момента сотворения мира миллиарды потомков таких же фируз только для того рождаются на свет, размножаются и умирают, чтобы спасти и сохранить человеческий род, и все?

В ту ночь такое объяснение смысла жизни показалось Сафи Гадирли очень наивным – тогда почему иной младенец появляется на свет и через три дня уходит из него? Природа проводит селекцию, естественный отбор? Почему? Какова цель? Что собой представляет такая абстрактная «природа»? Вопросы, которые соответствовали уровню мышления восьмиклассника Сафи, вновь всплыли и потрясли еще молодого, но уже известного в мире науки физика Сафи Гадирли. Потому что ни физика, ни математика, ни астрономия ничего не могли объяснить. Он не мог найти объяснения жизни в науке – ни в материализме, ни в идеализме, ни в любом другом «лизме». В чем разница между жизнью людей, проживших всего три дня, и жизнью

людей, проживших сто лет, ведь если они были рождены и пришли в этот мир, то у них должна быть какая-то миссия, в чем же заключалась эта миссия?

Эта простая мысль оказала на Сафи Гадирли впечатление великого открытия, От Аристотеля до Галилея, который опроверг его, от Ньютона, Фарадея до Эйнштейна, Бора, Ландау все великие (и невеликие) физики и математики фактически искали суть миссии человека и в целом смысла бытия на земле и не нашли того, что искали – воображение увело их далеко, но истина была еще дальше.

Только узнав, в чем заключается эта миссия, можно будет дать ответ на вопрос «Что такое Вселенная?», можно будет определить, какая сила контролирует эту Вселенную (видимую и невидимую, существующую и несуществующую), может быть, это не сила, а что-то иное, не поддающееся человеческому пониманию. Гадирли вспомнил, что прежде, чем сделать очередной ход в шахматах, человек обычно долго думает, и только после долгих раздумий игрок обычно возвращается к своей первой мысли, которая у него возникла в самом начале, и делает именно этот ход. Какова миссия человека, а в целом и всей Вселенной? – в этом вопросе нет ничего нового, но в ту ночь этот вопрос для Сафи Гадирли насколько был обыденным и простым, настолько же и глубоким. Этот вопрос словно затягивал его на дно колодца, где царила кромешная тьма.

И в эту ночь Сафи Гадирли всем своим существом окончательно уверился в том, что до сих пор законы физики были чем-то вроде человеческого эмбриона, только начавшего жить, находящегося на начальной стадии своего развития в утробе матери, и родиться этот эмбрион мог исключительно после полного формирования. В чем цель жизни? – чтобы найти ответ на этот простой, на первый взгляд, вопрос, необходимо было преодолеть пределы существующих научных парадигм, и только тогда можно будет чего-то достигнуть.

2

После той ночи прошло много лет, и все эти годы для Сафи Гадирли прошли в создании и открытии тысяч формул и их решений, эти формулы и поиски их решений находились в постоянном движении, вытесняя друг друга, стирая одни и формируя другие. Сафи Гадирли записывал свои расчеты в тетрадь и всегда носил эту тетрадь с собой, потому что новые идеи приходили в совершенно неожиданных местах – в автобусе, в аудитории университета или на заседании Научного совета и т.д. Все формулы, которые формировались в его мозгу, и их решения он записывал в эту тетрадь, а когда она заполнялась, он убирал ее в шкаф, который был заполнен такими же исписанными тетрадями, и брал новую.

В мире науки не знали о новых формулах и расчетах, которыми были исписаны эти тетради, даже академик Султан Султанлы не знал, чем занимался Сафи. Гадирли был убежден: проблема, которая поглотила его, настолько невероятна, что если не будет весомого результата, всерьез это никто не воспримет, скажут, что это просто «донкихотство» – нужен результат, а многолетние расчеты пока ничего не дали, уже в любимых каштановых волосах Фирузы появилась седина, а Сафи Гадирли все еще не мог уцепиться за нить, которая вывела бы его к настоящему Большому Результату, были мелкие подвижки, но они не приближали его к конечной цели.

Отсутствие значимых результатов иногда вызывало отчаяние, в такие минуты не только его сознание, но и каждая клеточка его тела протестовала против этой

безнадежности, он был подавлен, появлялись новые идеи, выводились новые формулы и их решения, затем другие, более новые идеи, сменяли старые.

Однажды Сафи Гадирли забыл очередную тетрадь на столе на кафедре, и когда на следующий день он пришел в университет, заведующий кафедрой академик Султан Султанлы, в советское время бывший действительным членом Академии наук СССР, вытащил ее из своего сейфа. «Я нашел эту тетрадь на столе, – сказал он. – Прости, но я не смог остановиться и посмотрел твои записи… Очень жалею, что сделал это… До поздней ночи я сидел на кафедре, пытаясь понять что-то из этих расчетов, но я так ничего и не понял». Потом какое-то время он молча смотрел на Сафи Гадирли, но тот тоже молчал, и Султан Султанлы так же молча протянул ему его тетрадь.

Академик Султан Султанлы, как и другие ученые, был немного завистлив, но талант Сафи Гадирли был такого масштаба, что ревность была невозможна, либо ты должен стать Сальери, либо должен гордиться таким талантом, и Султан Султанлы с первых же дней приметил необычные способности своего студента, видя в нем настоящего, увлеченного физика, он стал все больше и больше испытывать чувство гордости за него, и это чувство постепенно перетекло в признание и даже в поклонение перед его научным авторитетом. Султан Султанлы был абсолютно уверен, что его ученик Сафи был гением, с самого рождения закодированный на физику, этот студент не изучал уже известные законы физики, он сам их заново открывал и смотрел на это, как на что-то естественное, как будто так и должно было быть.

Султан Султанлы был очень рад, когда Сафи экстерном окончил университет и в течение года успешно защитил кандидатскую диссертацию, и глубоко опечален неожиданным творческим затишьем после этого. Сафи Гадирли пригласили преподавать в университете, с интересом ожидаемая в научном мире докторская диссертация Сафи была заброшена, за много лет он не написал ни одной новой статьи. И когда Султанлы спрашивал бывшего ученика: «Когда вы принесете хотя бы одну статью?», Сафи Гадирли лишь уклончиво отвечал: «Посмотрим…»

Коллеги думали, что талант Сафи Гадирли иссяк, это был вундеркинд, блеск которого остался в прошлом, его сил, как и у многих других вундеркиндов, хватило только на один шаг, а Сафи Гадирли продолжал молчать, письма от ученых из США, Великобритании, России, Турции, Пакистана, Японии, Израиля все поступали, всех интересовал вопрос: г-н Сафи Гадирли, почему нет никаких известий о ваших исследованиях? Но и эти письма оставались без ответа, и только академик Султан Султанлы чувствовал, что Сафи Гадирли работает над какой-то большой проблемой, но иногда даже ему казалось, что его питомец потерян для физики навсегда.

И только Фируза… только у Фирузы не было и тени сомнения, она была уверенна, что Сафи найдет то, что ищет. Фируза не понимала сути того, что искал Сафи, потому что для этого у нее не было ни технических знаний, ни желания, она просто знала, что Сафи находился в большом научном поиске, о котором он никому ничего не говорил, эта красивая и элегантная женщина была очень далека от формул и математических вычислений (критики называли её «душевной, романтической поэтессой»), и ее душа всегда пребывала в мире поэзии. Она хотела посвятить всю себя поэзии, поэтому у них не было детей, но на протяжении всех этих лет своей поэзией Фируза поддерживала Сафи Гадирли – во всяком случае, она была в этом уверена. Однако проблема заключалась в том, что стихи, которые Фируза посвящала Сафи, и которые она по понятным причинам не давала в печать, не приносили никакого об-

легчения уму Сафи Гадирли, наполненному формулами, цифрами, размышлениями, не давали передышки в поисках новых идей – родства и единения между поэзией и физикой не было. Конечно, Фируза не знала о такой нестыковке, потому что Сафи Гадирли очень любил Фирузу и не мог неосторожным словом разрушить ее тонкий поэтический мир.

С некоторых пор Фируза переводила стихи греческой поэтессы Сафо из Митилен на азербайджанский язык, и это была очень тяжелая работа. Легенда гласит, что Сафо покончила с собой, бросившись с Левкадских скал от неразделённой любви к паромщику Фаону, а для Фирузы Фаоном была поэзия.

Дни и ночи напролет Фируза жила мыслями о Сафо, но, несмотря на это, посвящала стихи и Сафи, читала их ему, желая морально поддержать его. А Сафи Гадирли слушал эти стихи, борясь в голове с цифрами, и когда она заканчивала читать, он, не произнося ни слова, улыбался и целовал ее нежную руку. Нежность этого поцелуя примешивалась к любовной поэзии Фирузы и разливалась по всему её существу, и она с еще большим поэтическим энтузиазмом начинала переводить Сафо.

И вчера вечером, перед сном, удобно устроившись в кровати, Фируза прочитала ему новое стихотворение, посвященное Сафи:

и волны вторят мне
безмолвно
найдешь, что ищешь ты,
любимый мой,
а то
и солнце не взойдет, и утро не наступит
мрак и холод
стихам останутся
и ветер вторит мне
безмолвно
найдешь, что ищешь ты,
любимый мой,
любовью к людям пылаешь ты
со мною вместе
души живущих
день и ночь
молитвы за тебя возносят

Сафи Гадирли вновь взял в свою руку нежную руку Фирузы и поцеловал, но внезапно грусть-тоска охватила его – раньше такого с ним не происходило, – потом математические формулы и символы, которые всегда занимали его, растаяли, как воск горящей свечи, и потекли куда-то, ум освободился от многолетнего напряжения, впервые, начиная с тех пор, как он начал изучать физику, его мозг был свободен от цифр и формул, и эта пустота настолько потрясла его, что ему показалось, что это конец всех зря прожитых лет, а на самом деле и конец всей его жизни.

Фируза не заметила потрясения мужа, да и перевод Сафо так изматывал ее, что, прочтя стихотворение, она улыбнулась, зевнула и сразу же заснула.

Сафи Гадирли некоторое время находился в трансе между бытием и небытием, и после выхода из этого состояния он уже знал, в чем заключается миссия человека

(и всей жизни, даже Вселенной!) на земле: результат долгих вычислений и решений был у него перед глазами.

До чего же все было просто.

И как же близко находился ответ.

Словно все эти годы он искал очки, которые были у него на носу.

В мозгу Сафи Гадирли тонкий луч света цвета только что пробившегося из почки листа осветил формулу Большого результата, и этот зеленый лучик, постепенно оживая, стал освещать математические формулы и символы, как будто свет, исходящий от зеленого листа, появился не в голове Сафи Гадирли, а на театральной сцене, и в этой игре было что-то до такой степени родное, интимное, что за всю свою жизнь ни с кем, даже с Фирузой, он не чувствовал такого родства.

Сафи Гадирли ощутил во всем своем существе необыкновенную свободу, невесомость и прозрачность, не было чувства боли или какого-либо движения, он полностью был погружен в себя, он мог с легкостью взлететь и приземлиться, куда захочет.

Сафи Гадирли встал из-за письменного стола и вышел на балкон своей квартиры на пятнадцатом этаже.

На весеннем ночном небе ярко светили луна и звезды.

Раньше эти близкие и далекие звезды рассказывали о мирах, полных тайн.

Теперь тайн никаких не было.

Сафи казалось, что если он пожелает, то может полететь на одну из этих звезд и, подняв лицо к небу, он с иронией посмотрел на эти звезды, больше он не чувствовал себя беспомощным перед этими огромными далекими звездами.

Эйфория одержанной победы охватила Сафи Гадирли, ему даже захотелось позвонить академику Султану Султанлы.

Но было три часа ночи.

Все равно завтра всему человечеству все станет известно.

Завтра обязательно нужно провести пресс-конференцию на кафедре.

Сафи Гадирли вернулся в комнату.

Фируза сладко спала.

Он не стал ложиться, сел за письменный стол.

Никогда еще он не писал письмо с таким трепетным волнением, испытывая при этом невероятную свободу и удовольствие.

3

В то утро Сафи Гадирли, потягиваясь за письменным столом и испытывая чувство наслаждения, встал и, как всегда, чтобы не разбудить Фирузу, бесшумно умылся, оделся, но пошел не в университет, как обычно, а направился в чайхану на Приморском бульваре. Он пока что был единственным человеком, который достиг результата Большого Поиска. Ему хотелось хотя бы полчаса побыть один на один с этой ценностью на берегу моря. Он снова и снова хотел видеть, как символы и цифры в ярком зеленом свете, сменяя друг друга, выливаются в результат Большого Поиска, словно это было театральное шоу.

Сафи Гадирли и раньше иногда приходил в эту чайхану. Летом, сидя за столом в тени ивового дерева, он продолжал мысленно производить расчеты.

– Здравствуйте, муаллим, – сказал чайханщик Алифага. – Давненько вас не видно.

– Здравствуй, здравствуй, – ответил Сафи Гадирли, улыбаясь, и протягивая ему руку. – Как поживаешь?

Чайханщик Алифага знал Сафи Гадирли как необщительного, одинокого клиента, человека всегда задумчивого, который, выпивая чай, все время глядел куда-то вдаль, иногда доставал из кармана свою тетрадь и вносил туда какие-то заметки. И то, что его клиент был сегодня в отличном настроении и протянул ему руку для приветствия, подняло настроение чайханщику. «Дай Бог, сегодня будет хороший день!...» – подумал чайханщик и с особым старанием вытер стол под ивовым деревом:

– Прошу вас, муаллим, садитесь!

Глядя на чайханщика Алифагу, Сафи Гадирли подумал: неужели его жизнь, начиная с сегодняшнего дня, полностью изменится, неужели, когда он узнает о своей миссии в этом мире, все его заботы, печали и радости покажутся смешными и бессмысленными по сравнению с Великой Миссией.

В то весеннее утро с моря дул легкий бриз, и шум морских волн, смешиваясь с шелестом листвы ивового дерева, увел мысли Сафи Гадирли к ученику восьмого класса Сафи, к тем незабываемым минутам, когда Мовсумзаде говорил о рассказе Джека Лондона «Любовь к жизни». Позже, когда он был уже студентом первого курса университета, он прочитал, что Джек Лондон покончил жизнь самоубийством, и тот факт, что писатель в возрасте сорока лет, написавший такое произведение, как «Любовь к жизни», сам сводит счеты с жизнью, ошеломил его, и вместе с этим им овладело ужасное чувство беспокойства и страха. Сафи Гадирли, наслаждаясь с любовью заваренным чайханщиком Алифагой чаем, вспомнил это и улыбнулся: в этом мире больше ничего удивительного нет, сегодня же нужно провести пресс-конференцию и объявить о результатах Большого Поиска всему миру – откладывать это нельзя.

Конечно же, в первую очередь результат Большого Поиска нужно записать на доске на кафедре и показать его Султану Султанлы. Подумав об этом, Сафи Гадирли представил себе лицо академика, смотрящего на результаты поиска, на самом деле через изумленные глаза Султана Султанлы на доску, исписанную формулами и расчетами, смотрел весь научный мир физики, все человечество.

Полученный в области физики этот Большой Результат, насколько был жизненно важным для человечества, настолько же был и прост, и не было никакой необходимости в специальных объяснениях: все, независимо от возраста, национальности, религии или расы, поняли бы этот Результат так же легко, как человек начинает дышать, появившись на свет.

В то летнее утро звук тихого плеска морских волн о бетонное ограждение находился в гармонии с мыслями и размышлениями Сафи Гадирли, он вспомнил вчерашнее стихотворение Фирузы, и оно теперь представлялось в совершенно другой форме – и ветерок, и волны действительно нашёптывали эти строки.

Фируза думала, что эти слова она сочинила сама, на самом деле эти слова диктовало ей её подсознание, те его слои, о существовании которых не подозревала ни Фируза, ни Сафо Митиленская, ни миллиарды людей, которые рождались и умирали в этом мире. Энергия всего человечества, включая этого толстого чайханщика, на протяжении всего этого времени сопровождала Сафи Гадирли, и у этой энергии не было никакого противостояния между позитивным и негативным, потому что и отрицательное, и позитивное так же хотели знать, какова их миссия в мире, и это великое желание с самого начала было скрыто в глубоком подсознании людей.

Но так было только до сегодняшнего дня!

В эту минуту Сафи Гадирли увидел человека, который вышел из-за деревьев и медленными шагами направлялся в сторону чайханы. Пройдя мимо пустых столов, он подошел к столику Сафи Гадирли и сел напротив него.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, здравствуйте! – все в таком же приподнятом настроении поздоровался Сафи Гадирли с незнакомцем.

Правда, они не были знакомы, но Сафи Гадирли показалось, что он встречал его раньше, и глядя на этого со вкусом одетого человека, в его большие зеленые глаза на симпатичном, но несколько увядшем лице, на его начинающие седеть волосы, аккуратно зачесанные назад, Сафи пытался вспомнить, где раньше его видел.

Сафи Гадирли и этот человек смотрели друг на друга, между ними возникала напряженная тишина.

– Как дела? – сказал Сафи Гадирли, видимо, чтобы нарушить эту тишину.

– Как всегда… – ответил незнакомец, и Сафи Гадирли почувствовал в этом голосе грусть, которую тот пытался скрыть, но в то же время в голосе этом было что-то родное и притягательное.

Сафи Гадирли показалось, что и тоска, и грусть, и родство, и притягательность – все слилось во взгляде этих больших зеленых глаз человека, сидящего напротив него, и в это мгновение эти большие зеленые глаза засветились нежным светом.

В эту самую минуту вся духовная и физическая составляющая Сафи Гадирли, превратившись в жидкость, покинула его оболочку, и холодный пот выступил на его обмякшем и расслабленном теле.

Глядя в глаза Сафи Гадирли, человек слегка кивнул головой, как бы подтверждая, что понимает его.

Формула результата Большого Поиска стояла у него перед глазами, ему захотелось, собрав все силы, крикнуть, чтобы раскрыть миру найденную им Великую Истину, но это было невозможно, у него перехватило дыхание.

Его собеседник поднялся, повернулся к Сафи Гадирли спиной и зашагал к морю, притягивая Сафи Гадирли, словно магнитом; он встал и последовал за ним.

– Муаллим, куда это вы? – удивленно спросил чайханщик Алифага.

Но Сафи Гадирли, скорее всего, уже не слышал его.

Он изо всех сил старался выйти из оцепенения и не идти вслед за этим человеком, но это было невозможно, и когда они дошли до каменного парапета бульвара, человек взобрался на него.

Сафи Гадирли последовал за ним и тоже взобрался на ограждение.

Вдруг он услышал за спиной крик чайханщика Алифаги:

– Муаллим, что это такое!? Что вы делаете?..

Из-за крика ли чайханщика Алифаги, или из-за чего-то еще, но Сафи Гадирли на секунду, всего лишь на секунду, вышел из оцепенения, и в этот момент перед его глазами, стирая результат Большого Поиска, засветилось ярким зеленым светом лицо очень красивого ребенка.

Когда они только поженились, и Фируза отказалась иметь детей, боясь из-за этого оставить мир поэзии, Сафи Гадирли, чтобы дать небольшую передышку своим мозгам, мысленно представлял себе своего нерождённого ребенка, как он поднимает его на парапет бульвара и крепко-крепко обнимает его, как они вместе смотрят вдаль на проплывающие корабли.

Затем человек шагнул с ограждения бульвара в море.

Прекрасное лицо ребенка растаяло в дыму, перед глазами Сафи Гадирли в тумане вновь вспыли расчеты Большого Поиска, освещаемые зеленым лучиком.

И Сафи Гадирли шагнул вслед за человеком.

4

«В 113 отделение полиции города Баку
от чайханщика Алифаги Мюршюд оглу

Объяснительная

Я, чайханщик Алифага Мюршюд оглу, довожу до вашего сведения, что мой клиент, Сафи Гадирли, сидел под ивовым деревом и пил чай. Он был один. Потом он с кем-то поздоровался. Я присмотрелся, но никого не увидел. Вдруг он спросил: «Как дела?», я опять присмотрелся, и опять никого не увидел. Я подумал, что он говорит по телефону. Но в руках у него телефона не было. Потом он поднялся и направился в сторону моря. Я удивился и спросил его: «Куда вы идете?», но он не ответил мне. Затем он взобрался на ограждение бульвара. Я крикнул ему: «Что это такое!? Что вы делаете?», но он опять ничего мне не ответил. Затем он сделал шаг, как будто шел по прямой дороге, и камнем упал в море. Народ собрался на мои крики. Когда спасатели вытащили его из моря, он уже был мертв.

Написал сам, и подпись моя.

Чайханщик Алифага Мюршюд оглу.

Жизнь и творчество художника Мухтара Манафлы и его бегство из этого мира

...потом поезд со свистом проехал через мост, и на дальнем склоне горы стали видны дома с побеленными известью стенами под красными черепичными крышами с опустившимися на них бело-голубыми облаками, и отец, прижавшись носом к вагонному стеклу, какое-то время смотрел на эту появившуюся вдалеке деревню.

– Как бы я хотел там жить!.. – прошептал он.

Мухтар, ученик первого класса, посмотрел снизу вверх вначале на отца, потом на ту деревню, потом снова на отца, и этот странный взгляд, устремленный за окно, навсегда врезался в память Мухтара Манафлы – прошли годы, и когда он вспоминал этот взгляд отца, он осознавал, что взгляд этот изливал тоску, переполнявшую душу.

Проехав через мост, поезд с тем же свистом въехал в лощину, и деревня исчезла из виду, за окном проносились только крутые скалы, но семилетнему Мухтару казалось, что отец все еще смотрит на ту странную деревню. Пока ехали по лощине, сумерки сгустились, стало темно, свет в поезде включили, и теперь отец в окне видел только свое отражение.

– Как бы я хотел там жить!.. – прошептал вновь отец.

Шли годы, и перед мысленным взором Мухтара все чаще появлялась та дальняя деревня, словно он видел ее в калейдоскопе, и по мере того, как калейдоскоп вращался, зелень садов сменялась красным цветом черепичных крыш, белыми стенами домов, цветом прозрачных облаков, земли, полей.

И казалось, что вместе с отцом поезд со свистом вез семилетнего Мухтара к белым листам, разноцветным карандашам – именно с тех пор он стал рисовать ту деревню, расположившуюся на склоне горы, и рисовал её каждый раз, когда слышал стук колес дальних поездов. Он всегда рисовал одну и ту же деревню, но сперва разноцветными карандашами, потом акварелью, а потом уже маслом, и каждый раз видел эту деревню по-новому, и с каждым разом эта деревня становилась ему все роднее и роднее.

Правда, «Проф. М.А.Саламова», глядя на его картины своими большими, живыми голубыми глазами и держа сигарету в длинных, тонких пальцах с ногтями, накрашенными ярко-красным лаком в цвет помады на тонких губах, говорила:

– Ты повторяешься. Ты должен найти новые темы.

И Мухтар старался прятать от «Проф. М.А.Саламовой» свои картины, изображающие ту деревню, но разве можно было что-то скрыть от «Проф. М.А.Саламовой», которая постоянно, держа в пальцах сигарету, ходила по пустым комнатам?

«Проф. М.А.Саламова» была его бабушкой, матерью его мамы, к тому же единственной азербайджанкой, избранной членом-корреспондентом АН СССР, и единственной женщиной в СССР, ставшей признанным специалистом по античному праву. На входной двери была прикреплена табличка с крупными буквами «Проф.М.А.САЛАМОВА», и каждый раз, когда мама приводила его в эту большую, просторную квартиру, все существо Мухтара опускалась в темноту – и дело было не только в том, что все окна в квартире «Профессора М.А.Саламовой» всегда были занавешены выцветшими, неопределенного цвета толстыми шторами – это само собой, самым главным было то, что Мухтар с самого раннего детства никаких теплых родственных чувств к этой высокой худощавой женщине не испытывал.

– Опять рисуешь одно и то же? – «Проф.М.А.Саламова» делала глубокую затяжку и, глядя большими голубыми глазами на картину Мухтара, на которой вдали, у подножия горы, была изображена деревня, качала головой, и одиннадцатилетний Мухтар в очередной раз давал себе слово, что больше никогда не придет в гости к «Проф.М.А.Саламовой», но после неожиданной смерти отца мать не оставляла его дома одного – Мухтар выходил из школы и шел к «Проф.М.А.Саламовой», а вечером после работы мать его забирала домой.

А однажды «Проф.М.А.Саламова», глядя своими голубыми глазами то на деревню с красными черепичными крышами, то на Мухтара, сказала:

– Ты на эту деревню смотришь, как илот на свободу!

Но Мухтар ничего из сказанного не понял и спрашивать ничего не стал, потому что каждое слово «Проф.М.А.Саламовой», словно несущийся со свистом поезд, разрушало мост, существующий в его мозгу.

Муж «Проф.М.А.Саламовой», то есть дедушка Мухтара, умер давно, Мухтар его не видел, знал, что и его звали Мухтар, и его мама всегда рассказывала подругам и соседям о необыкновенной любви этого самого Мухтара и «Проф.М.А.Саламовой», но каждый раз, когда он слушал эти рассказы, мальчику казалось, что именно из-за «Проф.М.А.Саламовой» сердце дедушки не выдержало, и он умер.

Мухтар и у себя дома начал прятать свои картины, на которых была изображена та деревня, потому что и мама, как «Проф.М.А.Саламова», качая головой, говорила:

– Ты постоянно рисуешь одно и то же... Можно же нарисовать еще что-нибудь, или нет?

Рисунки этой далекой деревни были везде: и в шкафу, в котором лежали учебники и тетради Мухтара, и в ящиках стола, и под кроватью, ею были разрисованы все тетради и учебники.

Наконец, по совету «Проф.М.А.Саламовой», мама, взяв несколько его рисунков, повела Мухтара в художественный кружок. Мухтар ходить в кружок не хотел, боялся, что кружок оторвет его от этой деревни, и когда руководитель кружка в синем халате, надетом поверх одежды, с волосами, тронутыми сединой и аккуратно собранными на затылке в хвостик, рассматривала его картины, Мухтар хотел убежать и спрятаться, потому что не хотел услышать и от нее слова «Проф.М.А.Саламовой», но, к его удивлению, услышал совсем другое:

– Красивая деревня... – сказала она, и сердце Мухтара забилось сильнее. – Копировал с другой картины?

Мухтар, пропустив мимо ушей вопрос руководителя кружка, уставился на нее, ему вдруг показалось, что ее взгляд похож на взгляд отца, смотрящего в окно вагона, когда они проезжали по тому мосту.

– Нет, нет!.. – вместо него ответила мама с нескрываемой гордостью. – Он сам рисует!

А Мухтар в этот момент снова ехал в вагоне – поезд со свистом проезжал через мост, и сквозь стук колес он слышал шепот: «Как бы я хотел там жить».

В кружке вначале рисовали карандашом кубы, треугольники, потом различные кувшины, стаканы, яблоки, груши, потом постепенно перешли к цветным карандашам, фломастерам, акварели, и руководитель кружка, расхаживая по комнате, часто останавливалась возле Мухтара, внимательно изучая его работы.

– Хорошо... – говорила она, и голос ее теплом разливался в его душе, и добавляла: – Ты станешь художником. И хорошим художником.

Странно, когда он слышал эти слова своей наставницы, все предметы, которые он рисовал в кружке – кувшины, стаканы, яблоки – стирались из его памяти, словно резинкой, они исчезали, а вместо них оживала та деревня у подножия горы, и Мухтару казалось, что руководитель кружка на самом деле жительница той деревни; ему казалось, что эта красивая женщина с седеющими волосами, сложив ладонь козырьком, внимательно смотрит на поезд, проезжающий вдали, и видит семилетнего Мухтара, стоящего у окна вагона; ему казалось, что ее взгляд зовет его, Мухтара, в эту деревню, и в стуке колес он слышал ее шепот: «Иди сюда!.. Иди сюда!..»

Мухтар смотрел на эти кувшины и стаканы, груши и яблоки, рисовал их, но в мыслях своих зачастую пребывал в той деревне и, наспех нарисовав заданные предметы, с новым воодушевлением начинал рисовать ту увиденную в детстве деревню, то черной тушью, то пастелью, то акварелью, темперой на бумаге, картоне.

– А... Тот же пейзаж? – спросила руководитель кружка. – Хорошо... – Но через какое-то время, вновь рассматривая его акварельные работы на ватмане, сказала: – Нет... Знаешь, так нельзя! – А потом повторила слова «Проф.М.А.Саламовой»: – Ты повторяешься. Ты должен найти новые темы.

И больше эта седеющая женщина никогда не смотрела из деревни, расположенной у склоне горы, на поезд, мчащийся вдали, и вообще с этого момента больше никто в жизни Мухтара не стал жителем того села. Спустя некоторое время после того, как мама с гордостью сказала руководителю кружка: «Нет, нет!... Он сам рисует!..», она уже смотрела на изображения этой деревни так же, как на свои кастрюли и тарелки.

Учась в Бакинском художественном техникуме им.А.Азимзаде, он рисовал эту деревню с белеющими вдали стенами и красными черепичными крышами, эту зелень, эти бело-голубые облака на льняных полотнах, а когда не находил их, рисовал масляными красками на оргалите, и уже в Москве, в один из морозных дней, когда снег шел крупными хлопьями, в его жизни произошло странное событие: ему вдруг вспомнилась ныне покойная «Проф.М.А.Саламова» и сказанные ею почти двадцать лет назад слова: «Ты на эту деревню смотришь, как илот на свободу». Когда «Проф.М.Ф.Саламова» произнесла эти слова, Мухтару показалось, что «илот» – плохое слово, как ругательство, но в тот зимний морозный и снежный день он в библиотеке Академии, завалив стол словарями, сам не зная причины и никогда ранее не чувствуя такого настроя и энтузиазма, нашел значение слова «илот»: в IV-V веках до нашей эры в Спарте так называли рабов, занятых земледелием и работающих на дальних плантациях; илоты смотрели на свободных людей с неизбывной тоской и завистью.

С того самого зимнего дня «илот» поселился в его мозгу; так же, как птицы по весне после холодной зимы вили и обживали гнезда, он полностью овладевал всем его существом. Мухтар Манафлы для своей дипломной работы в Художественной академии им.В.И.Сурикова нарисовал на холсте масляными красками ту деревню, а за ней, почти на линии горизонта, – с трудом различимые силуэты ее жителей, работающих в поле, и, несмотря на то, что они едва были видны на картине, их радость, наполненная свободой и счастьем, отчетливо чувствовались, а невидимые глазу илоты с завистью смотрели на этих людей. Илоты на картине изображены не были, но в мозгу Мухтара Манафлы они с той же вечной тоской, что и две тысячи лет назад, с никогда не исчезающей завистью смотрели на жителей этой деревни, они были невидимыми зрителями нарисованной на холсте деревни.

Председателем выпускной комиссии Академии им.Сурикова был племянник знаменитого русского поэта Осипа Мандельштама, действительный член Академии художеств СССР Натан Эмильевич Мандельштам, и он впервые увидел созданную Мухтаром картину.

Прищурившись, профессор Мандельштам довольно долго и внимательно разглядывал картину, а потом, словно самому себе, сказал:

– Интересная работа!.. – и, не удовлетворившись этим, опять, словно самому себе, добавил: – Даже очень интересная работа!..

Самым странным было то, что профессор Мандельштам говорил эти слова, будто чего-то опасался, даже боялся, во всяком случае, Мухтар это отчетливо почувствовал.

Закончив свое образование, Мухтар Манафлы вернулся в Баку, и каждый раз, когда эта деревня оживала на его полотнах, илоты тем же тоскливым взглядом смотрели на свободных людей, работающих далеко, у самой линии горизонта.

Однажды ему, то есть, Мухтару Манафлы, показалось, что и его отец вместе с илотами смотрит на ту далекую деревню, и когда поезд со свистом проезжал через мост, отец вместе с илотами устремил свой взгляд на красные черепичные крыши вольной деревни, просто Мухтар этого не увидел. И слова «Вот бы и мне жить в этой деревне» на самом деле отец сказал вместе с илотами, жившими внутри него.

В один из дней жена Мухтара Манафлы Гюльзар, – она была известным композитором, – в очередной раз глядя на только что нарисованную картину мужа с изображенной на склоне горы деревней, как турки, сказала:

– Аллах-Аллах! Это уже мания!..

Мухтар, как и «Проф.М.А.Саламова», держа целыми днями в пальцах сигарету, сделал глубокую затяжку и улыбнулся, на что Гюльзар с еще большей раздраженностью сказала:

– Однозначно: это – мания!

Мухтар снова улыбнулся и, как обычно, ничего не сказал. Дело было в том, что примерно год тому назад, когда он слушал музыку из нового альбома Гюльзар, он вдруг ясно увидел ее, т.е. Гюльзар, смотрящую вместе с илотами на прекрасную и вольную деревню на склоне горы. Это открытие, связанное с Гюльзар, потрясло его. Вот уже десять лет, как они женаты, а он ее так толком и не узнал. Настоящая Гюльзар была совершенно другой. Просто Мухтар не знал об этом, и, самое главное, сама Гюльзар не знала об этом, не имела об этом никакого представления.

Мастерская Мухтара Манафлы была заполнена картинами, на которых была нарисована далекая деревня, увиденная им раз в детстве, это были и картины в цвете, и графические работы, эскизы, этюды, черновики. И когда его коллеги приходили к нему в мастерскую, они удивлялись тому, сколько можно изображать один и тот же пейзаж. Но для Мухтара Манафлы все было ясно как божий день: эти картины не повторяли друг друга и не были копиями с предыдущих работ. У каждой из них была своя особенность, единственное, что объединяло все эти работы, так это аура свободы и счастья, исходящие от этих картин. И эта аура обновлялась от картины к картине, как детский калейдоскоп, приобретая новые оттенки и нюансы.

У него были и другие работы: портреты, натюрморты, разные композиции, и эти произведения демонстрировались на выставках и раскупались. Но все эти работы помогали Мухтару Манафлы мобилизовать внутренние силы для основной работы, т.е., работая над портретами, натюрмортами, он готовил себя к основной теме.

Художники больше не приходили в его мастерскую, даже у Гюльзар отпало желание приходить туда. Но Мухтар Манафлы нисколько не обижался на это, потому что на картине Гюльзар находилась среди илотов, которые с тоской и завистью смотрели на вольную деревню, просто сама она не знала об этом. Музыка Гюльзар понимала это, сама же – нет. Гюльзар и в голову не могло прийти, что Мухтар, слушая в филармонии последний концерт, который она написала для камерного оркестра, мысленно, словно в детский калейдоскоп, как много лет назад, смотрел на эту деревню. И с каждым аккордом белые известковые стены и красная черепица крыш приобретали все новые и новые оттенки.

Большую часть дня Мухтар Манафлы проводил в своей мастерской, она была для него самым родным и уютным местом на свете. И не только потому, что здесь он мог работать, писать картины, изображая свою деревню, и, конечно, они ни в коем случае не повторяли друг друга, просто другие этого не видели, а еще и потому, что вместе с илотами он сколько угодно мог глядеть на далекую деревню, и никто не мог помешать его размышлениям о жизни, об убеждениях и идеях.

И в один из таких дней Мухтару Манафлы показалось, что вместе с ним на ту свободную деревню глядит и дед Мухтар, лицо которого он видел только на фотографиях, и это немного рассмешило его. На миг у него мелькнула мысль, что это из-за того, что дед Мухтар не может избавиться от «Проф. М.А.Саламовой», от пустой и просторной квартиры, окна которой занавешены плотными шторами, и эта безысходность заставила его устремить свой взгляд на деревню, которой так и суждено оставаться вдали. Но самым неожиданным и впечатляющим открытием для него стало то, что через некоторое время он вдруг осознал, что и сама «Проф. М.А.Саламова»

вместе с илотами смотрит на ту деревню.

Как-то ночью Мухтар Манафлы лежал в своей кровати, уснуть ему не удавалось, он встал, оделся, Гульзар тоже проснулась, но ничего не спросила, так как поняла, что Мухтар по своему обыкновению направляется в мастерскую, она повернулась на другой бок и заснула. Мухтар Манафлы вышел из такси и поднялся в мастерскую. Войдя, он тут же схватил чистый холст и укрепил его на мольберте. Не прошло и двух часов, как портрет «Проф. М.А.Саламовой» был написан: красные тонкие губы «Проф. М.А.Саламовой» были плотно сжаты, ее взгляд пытался сделать невозможное: скрыть огромную печаль и невыразимую тоску, которые прятались за ее живыми голубыми глазами.

Прищурившись и куря сигарету, Мухтар Манафлы смотрел в голубые глаза «Проф. М.А.Саламовой». Он не мог себе простить, что за все годы не смог увидеть скорбь и тоску в этих глазах. Ему вспомнилось детство, когда он ходил в кружок рисования, и перед его глазами встала руководительница кружка с проседью в волосах. Много лет Мухтар Манафлы не вспоминал эту женщину, и нахлынувшие воспоминания наполнили его грустью, потому что в глубине глаз руководителя кружка он так же ясно увидел эту тоску, но почему она сама не знала, не чувствовала этого? Может, когда человек пребывает в неведении, печаль, которая сидит внутри него, находится в состоянии сна или дремлет?!..

...Тем летним днем Мухтар Манафлы сидел в мягком кресле – кресло деда Мухтара после «Проф. М.А.Саламовой» перешло к его покойной матери, а потом, от матери, в эту мастерскую, как память – и внимательно смотрел на эту деревню, возможно, эта картина, написанная маслом на холсте, закрепленном на мольберте, была самой крупной из написанных им картин, никогда он так долго, больше одного месяца, не работал над одной вещью, и эту работу он завершил вчера вечером. Закончил и, как часто это бывало, домой не пошел, остался на ночь в мастерской, любопытно, в отличие от других случаев, в этот раз ему хотелось вернуться домой, но, казалось, какая-то неведомая сила удержала его здесь.

Утром, прежде чем отправиться в консерваторию, – она была профессором и работала на композиторском факультете, – Гюльзар заехала в мастерскую и увидела новосозданную большую картину.

– Великолепно!... – сказала она. – Прекрасно! – Потом перевела взгляд с картины на Мухтара и улыбнулась. – Но... не обижайся... я видела это тысячу раз!.. – Затем Гюльзар, будучи всегда человеком серьезным, с неожиданным кокетством подмигнула ему и ушла.

...Потом долгие годы Гюльзар часто вспоминала эту их последнюю встречу, думала, как это произошло, почему, по какой причине она в то утро отправилась в мастерскую? Что случилось? Мухтар часто оставался на ночь в студии, и Гюльзар никогда не ходила туда по утрам...

Но ни неожиданный визит Гюльзар в то утро в мастерскую, ни ее кокетливое подмигивание не оказали на Мухтара Манафлы никакого впечатления. Потому что Мухтар Манафлы, проведший всю ночь между сном и реальностью, находился в поезде, проезжающем по мосту, и когда утром пришла Гюльзар, стук проезжающего поезда все еще отчетливо звучал в его ушах. Он поднялся с диван-кровати и сел в кресло, которое осталось в память от деда Мухтара, еще какое-то время Мухтар Манафлы продолжал оставаться в том поезде и никак не мог с него сойти. Вообще, куда его вез этот поезд? – Мухтару было все равно, и после ухода Гюльзар он все еще

ехал в поезде, проезжающем по мосту, а отец смотрел в окно вагона на деревню на склоне горы, просто он не знал, что он смотрит на нее вместе с илотами и глазами илотов.

В тот летний день Мухтар Манафлы, сидя в кресле, устремил свой взгляд на далекую деревню, изображенную на картине, в этот момент, казалось, она раскинулась так широко, что вышла за пределы холста, ему даже показалось, что он видит не только поля, не изображенные на картине, но довольно четко людей, работающих на этих полях.

Вдруг какая-то неведомая сила подняла Мухтара Манафлы и поставила его лицом к лицу с деревней, изображенной на картине.

Мухтар Манафлы физически почувствовал, как его обняли, и безумное чувство, перетекшее из сердца в глубокую память и молчавшее на протяжении всех этих лет, поднялось в нем: никогда мать его так не обнимала, никогда он не чувствовал такого тепла – это было совершенно другое чувство, другое тепло, безграничное, постоянное и абсолютно родное. Он закрыл глаза и всем своим существом почувствовал, что больше не находится среди илотов и не смотрит вместе с ними вдаль, наоборот, илоты и вместе с илотами множество знакомых и незнакомых людей смотрят не на отдаленную деревню, а на него, на Мухтара Манафлы.

В тот знаменательный летний день солнечные лучи, ворвавшись, как селевой поток, залили светом мастерскую Мухтара Манафлы и придали ей какую-то особую невесомость и прозрачность.

* * *

Среди искусствоведов и художников распространилась новость, что Мухтар Манафлы исчез. С ним что-то случилось? Но что? Как? – ничего не было известно.

– У него были странности, – говорили все.

– Сколько можно писать один и тот же пейзаж?..

– Но он был неплохим художником.

– Но в этой комнате я видела его новую работу!... – говорила Гюльзар. – На огромном холсте была изображена все та же деревня. Где эта работа? И куда подевался мольберт? Он что, забрал с собой и картину, и огромный мольберт?! Куда он его унес? Может быть, его забрали? Кто? Зачем? А если не забрали, то куда в таком случае ушел Мухтар?

Тутовая Ветка, Побег Абрикоса и сказка желтого соловья

Герцог: …нет повести печальнее на свете...

У.Шекспир, «Ромео и Джульетта»

Зима закончилась, наступила весна, и Старое Тутовое Дерево пробудилось ото сна, впитывая корнями прохладную воду и согреваясь под лучами солнца, его ветки покрылись почками, и из одной из них появилась молодая нежная веточка, которая быстро росла, набирая силу, и вскоре обросла листьями, радуя глаза.

Старые ветки тутового дерева удивлялись, глядя на Молодую Ветку, потому

что она все время улыбалась. Но чему? Они никак не могли понять, потому что их окружали те же деревья, которые они видели каждый день, в небе были те же самые луна, солнце и звезды, они с изумлением смотрели, как быстро растет Молодая Ветка, а листочки на ней так блестели на солнце, что даже повидавшие не одну весну старые ветки дивились, глядя на нее: ведь все они были детьми одного и того же дерева, все пили одну и ту же воду, дышали одним и тем же воздухом, но при этом Молодая ветка улыбалась и светилась особым светом, и росла, росла на глазах. Причину этой загадки они разгадать не могли.

Старое Тутовое Дерево хорошо понимало то, чего не могли понять старые ветки, да, все было, как всегда, то же солнце, та же луна, те же звезды, дерево одинаково поило все свои ветки водой, которую оно добывало из недр земли, и дерево, и его ветки дышали одним и тем же воздухом, но наряду со всем этим существовала еще одна причина, которая давала дополнительные силы Молодой Ветке, и побуждающей причиной этих сил и стремлений была радость.

Молодая Ветка Тута была полна радости с момента своего рождения: она радовалась теплу, которым ее одаривало солнце, радовалась, что по ночам мир освещают луна и звезды, ей нравились другие деревья, которые также пробуждались после зимней спячки, она радовалась, что на этих деревьях набухают почки, распускаются листочки, ветки растут, раскрывая свои обьятья миру, радовалась траве, пробивающейся из земли и покрывающей ее нежным ковром, радовалась каждому цветку и тому, что лучи солнца с одинаковой любовью согревают и деревья, и траву, и цветы, не давая им замерзнуть.

Ясное дело, что деревья по ночам не спят, они засыпают с наступлением осени, спят всю зиму и хорошенько высыпаются за это время. А вот птицы по ночам спят и встают рано. И Молодая Ветка Тута радовалась их красивому пению ранним утром, радовалась журчанью реки, которая протекала неподалеку, а с наступлением темноты радовалась кваканью лягушек и верещанию сверчков.

Молодая Ветка Тутового Дерева и сама не заметила, насколько она выросла; больше, чем прохладная вода и солнце, ее взращивали любовь и радость, и для нее это было естественным, она считала, что так и должно быть.

Тутовое дерево не могло сказать это своим веткам, потому что деревья не могут говорить, они могут только чувствовать, и другие ветки тоже должны были это почувствовать. Но только другим веткам после зимней спячки больше всего хотелось напиться прохладной водицы и согреться под лучами теплого солнца. Старые ветки не чувствовали того, что чувствует Тутовое дерево, потому что они каждый день пересчитывали свои листочки, так как самым большим желанием каждой из них было похвастаться перед товарками количеством и нежностью своих листьев.

Старое Тутовое дерево чувствовало радость жизни, наполняющую Молодую Ветку, и считало ее самой счастливой в мире.

Молодая Ветка и сама считала себя самой счастливой, но в этом счастье было еще какое-то чувство ожидания, как будто она была в преддверии какого-то другого, нового счастья.

В одну из прекрасных ночей Молодая Ветка Тута, глядя на луну и звездное небо, предавалась мечтам – а мечты ее состояли из того, что ночью она радовалась, вспоминая то, что видела днем, потому что для нее это и была жизнь.

В ту прекрасную ночь, отдавшись мечтам, она и не заметила, как наступило утро. От грез её пробудило пение птицы, которую она никогда раньше не слышала.

Молодая Ветка Тута приподняла свои нежные листочки и огляделась по сторонам, чтобы увидеть певца, но в предрассветных сумерках разглядеть птицу ей не удалось, а та продолжала наполнять округу своим волшебным голосом. И только когда полностью рассвело, Молодая Ветка наконец-то смогла разглядеть маленькую желтую птичку – Соловья.

* * *

Недалеко от Тутового Дерева росло Абрикосовое Дерево, которое тоже пробудилось от зимней спячки и разрослось, раскинув ветки, Соловей сидел на одной из его веток и заливался трелью.

Соловья еле было видно среди молодых красновато-зеленых листьев Побега Абрикосового Дерева. Но Молодая Ветка Тута, слушая пенье Соловья, как ни странно, смотрела не на Соловья, а, сама не зная, почему, смотрела на Побег Абрикоса., и в эту самую минуту листья на Побеге Абрикоса задрожали, напряглись и выпрямились.

С тех пор, как Молодая Ветка Тута появилась на свет, она всегда видела большое Абрикосовое Дерево, и Молодой Ветке Тута очень нравились цвета листьев Абрикосового Дерева, они доставляли ей радость. И сейчас Молодая Ветка Тута, глядя на Побег Абрикосового Дерева, испытывала радостное чувство, только теперь к этому чувству примешивалось еще какое-то другое, непонятное чувство, и Молодая Ветка Тута не могла понять, что это.

Молодой Ветке Тута казалось, что она впервые видит это Абрикосовое Дерево, и странность была в том, что Молодая Ветка Тута никак не могла отвести взгляд от Побега Абрикосового Дерева.

Соловей явно был в ударе, он пел так вдохновенно и исполнял свою самую красивую песню, но Побег Абрикосового дерева, глядя на Ветку Тута, словно не слышал этого пенья, хотя, когда рано утром Соловей прилетел и, сев на его ветку, начал петь, он был в восторге, даже был горд тем, что Соловей выбрал именно его, и исполняет эту песню исключительно для него.

Побег Абрикосового Дерева и Ветка Старого Тута глядели друг на друга, не отрываясь. В эту минуту они как будто хотели чего-то большего, чем эти взгляды, чего-то не хватало, но что они могли еще сделать, кроме того, как смотреть друг на друга?

Соловей вдруг замолк, наступила мертвая тишина, но тишина эта теперь была другой. В чем же была причина? Ни Ветка Тута, ни Побег Абрикоса этого не знали, но разницу чувствовали. Неожиданно Соловей вспорхнул вверх и, немного покружив среди деревьев, так же неожиданно сел на Ветку Тута.

Странно, видел ли Соловей их взгляды, устремленные друг на друга?

Могут ли птицы видеть взгляды деревьев?

Тогда почему Соловей среди огромного количества веток Старого Тутового Дерева, выбрал именно Молодую Ветку Тута?

Когда Соловей своими маленькими и нежными коготками обнял Ветку Тута, ей показалось, что Побег Абрикоса прикоснулся к ней, и прикосновение это, соединившись с радостью в ее душе, пробудило чувство, дремавшее в ней, как бутон, оно вдруг расцвело и распустилось, и чувство это было такое сильное, что даже Тутовое Дерево, которое задремало, слушая пенье Соловья, вздрогнуло, оно посмотрело вначале на свою Ветку, затем осмотрелось вокруг, но ничего не увидело и ничего не поняло, может, потому, что оно состарилось, и уже забыло, какие удивительные

вещи происходят в жизни.

Тепло, которое исходило от нежных коготков Соловья, обнимающих Ветку Тута, не было похоже на тепло, исходящее от солнца, это было какое-то другое, новое чувство, в этом чувстве было что-то родное, и оно, это чувство, полностью охватило все существо Ветки Тута, но было и что-то приятно незнакомое, может, это было продолжением ощущения преддверия неизвестности? Но Ветка Тута была так взволнованна, что ни о чем не могла думать.

Соловей снова запел, потом внезапно замолчал, взлетел вверх и растворился в небе, но Ветка Тута не хотела, чтобы Соловей улетал, она хотела, чтобы Соловей снова сел на Ветку Абрикоса, и его маленькие нежные коготки передали Ветке Абрикоса все, что она не может высказать.

Побег Абрикоса тоже смотрел вслед улетающему Соловью, его красновато-зеленые листочки внезапно задрожали, потому что он тоже не хотел, чтобы Соловей улетал, хотел, чтобы Соловей, слетев с Ветки Тута, снова опустился бы на него.

Конечно же, Ветка Тута сразу заметила шелест листьев Побега Абрикоса, это был не просто шелест, он создавал приятное дуновение в сторону Ветки Тута, как бы утешая ее из-за того, что Соловей улетел.

Солнце поднялось в зенит, потом пошло к закату и наконец ушло за горизонт, наступила ночь, и Побег Абрикоса в темноте больше не был виден.

Ветка Тута знала, что сколько бы она не всматривалась в темноту, она не сможет увидеть Побег Абрикоса, но оторвать свой взгляд оттуда не могла, и еще Ветка Тута точно знала, что из темноты Побег Абрикоса так же смотрит в ее сторону.

Ветка Тута и не заметила, как погрузилась в мир грез. Но в этот раз в своих мечтах она вспоминала не только то, что увидела днем. Ей вдруг показалось, что ее листва прикоснулась к листве Побега Абрикоса.

Это было такое прекрасное чувство, что Ветка Тута не хотела расставаться с этим ощущением, но постепенно это чувство окутали тоска и печаль, потому что она понимала, что эти мечты так и останутся мечтами, и их листва никогда не коснется друг друга.

И тут Ветка Тута опять услышала пение Соловья, в предрассветных сумерках можно было различить только его силуэт, но она по его пению поняла, что это именно их Соловей, и он опять сидел на Побеге Абрикоса.

После продолжительного пения Соловей резко взметнулся в воздух, покружил между Тутовым и Абрикосовым Деревьями и сел на Ветку Тута, которая ожидала его, и снова начал свое завораживающее пение.

Что хотел сказать своим пеньем Соловей? Ветка Тута не понимала языка птиц, но по мере того, как вслушивалась в это пение, ей казалось, что голосом Соловья для нее поет Побег Абрикоса.

Тепло, исходящее от нежных коготков Соловья, конечно же, было теплом переданным Побегом Абрикоса, и Ветка Тута ощущала это всем своим нежным существом, чувствуя это, Молодая Ветка Тута, казалось, наполнялась светом, словно она дышала не воздухом, а солнечными лучами.

Соловей закончил петь, мгновение вслушивался в наступившую тишину, взмахнул крыльями и улетел, но через некоторое время произошло невероятное: затем Соловей вернулся и снова опустился на Побег Абрикоса, начал свое пение, потом взлетел, покружил между деревьями, сел на Ветку Тута и, обвив ее своими нежными коготками, продолжил наслаждать их своим искусством.

* * *

Теперь каждое утро Соловей садился на Побег Абрикоса, пел свои песни, затем перелетал и опускался на Ветку Тута. Так он передавал Ветке Тута то, чего не мог сказать ей Побег Абрикоса. В эту минуту Ветку Тута охватывало такое волнение, что даже Тутовое Дерево это чувствовало, и это его сильно удивляло, потому что оно было очень далеко от таких чувств. Сейчас глубоко под землей своими корнями оно стремилось напиться воды и подкормиться удобрениями, а потом переправить все своим веткам, чтобы те могли принести богатый урожай.

Пока пел Соловей, листья на Побеге Абрикоса светились и переливались под солнечными лучами. И свет, исходящий от этой листвы, разливался по всему существу Ветки Тута.

Каждое утро для Ветки Тута и Побега Абрикоса начиналось с пенья Соловья. Но однажды предрассветное время перешло в утро, наступил день, а затем и закат, а Соловья все не было, он не прилетел. Ветка Тута и Побег Абрикоса, приподняв свою листву, смотрели друг на друга в ожидании Соловья, но он так и не появился.

Прошел день, второй, третий – Соловья не было. Интуиция Ветки Тута подсказывала ей, что что-то случилось. Соловей больше никогда не прилетит, больше никогда он не сядет на Побег Абрикоса и не начнет петь, не обнимет ее своими нежными коготками и не передаст слов ее возлюбленного.

Целыми днями, приподняв свою листву, Ветка Тута и Побег Абрикоса, смотрели друг на друга, и разноцветная листва на Побеге Абрикоса постепенно стала жухнуть.

Ветка Тута видела все это, и начала постепенно впадать в грусть и тоску. Ее листочки тоже стали чахнуть и желтеть.

Другие ветки Тутового дерева удивлялись, ведь осень еще не наступила, почему же листья Молодой Ветки пожелтели? Конечно же, они ничего не могли понять.

У Ветки Тута больше не было сил, чтобы приподнять свои листочки и посмотреть на Побег Абрикоса. И ей снова захотелось побыть в мире грез, захотелось помечтать о том, как листва Побега Абрикоса прикоснется к ее листве. Но у нее не было сил даже для мечты.

Тутовое Дерево видело, как грусть и тоска одолевают Молодую Ветку, но приписывало это изменение приближающейся осени. Оно думала: ничего страшного, наступит осень, а потом зима, Молодая Ветка впадет в спячку, весной проснется и снова зазеленеет, разветвится и снова будет веселой.

* * *

Закончилось лето, наступила осень, за ней пришла зима, и снова наступила весна, но на высохшей Ветке Тута почки так и не появились.

Той весной Тутовое Дерево разрослось с еще большей силой, и забот у него прибавилось, возможно, поэтому смерть прошлогодней ветки не была для него важным событием, и, конечно же, оно не могло знать, что прошлогодняя ветка на Абрикосовом Дереве, растущем напротив, тоже высохла.

РАШАД МЕДЖИД

От переводчика

Мои переводы стихотворений Рашада Меджида – чистой воды случайность. Ибо на русский язык стихи я не перевожу, разве что, иногда – свои стихи. Но я рад, что мне выпала такая возможность. Во-первых, я вновь убедился в том, что переводческий процесс есть незаменимый метод постижения любого текста, в том числе и стихотворного (да и не только текста, но и души его автора). А во-вторых, делая перевод, я также получил шанс заполнить свои пробелы в русском языке.

Рашад Меджид, безусловно, одаренный прозаик и публицист, автор талантливых стихотворений, в чем читатели убедятся ниже. Буду предельно откровенен: мы с Рашадом всегда стояли и стоим на противоположных эстетических платформах, что нам обоим нередко мешало мирно работать. Но мне особо импонирует то, что за довольно жестким его образом (по крайней мере, мне так всегда казалось) я почувствовал нежную душу поэта.

Салим Бабуллаоглу

Заброшенный дом

Безлюдные дома
выдают балконы.
В душе
оглушительное молчание
комнат.
По лицу видно,
что не люблю
и забываю.

Дом

Трущобам посвящается

Подобно детям, играющим в прятки,
солнце не может найти
темноты этого дома.
Вот одна комнатка –
с отверстием в крыше
и с окном,
наполовину закрытым
книгами по эту сторону,
а по ту – соседским кировым котлом.
Этой комнаты воздух тяжел,
тяжел воздух этой комнаты!
Душа разрывается,
даже не видя темноты, что прячется.

Деревня у железной дороги

Деревня
у железной дороги
каждую ночь видит сны:
склон,
лунный свет,
шум реки;
свет ночных поездов
ослепляет ее;
из-за гудков она вздрагивает
по ночам;
стук колес
принимает за шум реки;
и, принимая на миг за лунный свет
свет ночных поездов,
вновь возвращается в свои сны
деревня у железной дороги.

Кто ты есть, эй, новорожденный?

Кто ты есть, эй, новорожденный?
Из какого века возвращаешься,
так плача?
Ну, давай, скажи-ка,
Кем ты будешь мне,
я тебе кем буду?
Кто ты есть, эй, новорожденный?

Пока не высушило солнце,
ветер пока не унес,
и пока вкус воздуха не затмил
твою свежую память,
отвечай мне, говори:
кто ты есть?

Этот мир, это солнце
ослепит, засветит твой взгляд,
как фотопленку при дневном свете;
высохнет, исчезнет твоя память.
Пока не научился говорить,
пока не испарилась твоя память,
скажи мне скорей,
кто ты есть, эй,
новорожденный?

Размышление

Старался
постичь тебя,
почувствовал,
что
светает.

Как я наполнен тобою

Как я наполнен тобою-
наполнен умом твоим,
словами, пылом твоим, духом,
изумлением, чистотой твоей наполнен,
упорством, беззаветностью, дарами твоими,
запахом, дыханьем, твоим взглядом;
твои улыбки – крылья мне,
небом твоим, землями наполнен,
прикосновением, волнением, любовью твоей.
Ты – мое богатство, роскошь моя, мои владения –
тобою наполнен я, полон,
богат я, очень богат...

Последнее дыхание

Увидел тебя:
ни кровь не вскипела,
ни душа не встревожилась.
Это была любовь моя –
на последнем дыхании.

Потому, что есть ты

Берег красив,
потому, что есть ты.
Потому, что есть ты,
море такое умиротворенное.
И мир этот так сладок, сладок –
потому, что есть ты

Вдруг

Вдруг я заметил:
Слова мои, шипящие,
как угольки на льду,
почерневшие и потухшие,
задыхающиеся, как рыбы,
волнами заброшенные на берег,
бьются, умирают,
и из каждого стеклянного глаза их
черти мне улыбаются.

Вдруг понял,
что впустую было
горение мое, мой пламень.
Не согрелась ты теплом,
не осветилась ты светом моим –
и упал я с трона своего,
держащегося на крыльях слов.
И тогда, судьбу свою
Обнявши, заплакал вдруг.

ИНЕССА ЛОВКОВА

Чужая сигарета

Исходила дымом сигарета
В пепельнице броской на столе,
От всепроникающего света
Дым светился и слегка алел.

Стол чужой, чужая сигарета,
Да, не ты курил её сейчас,
А банальная картинка эта,
Пусть и без тебя, но всё ж про нас.

Пылкое своё воображенье
Я могла бы без труда унять,
Но запущенный процесс броженья
С лёту не хотелось обрывать.

И вполне всерьёз – какие шутки? –
Никому не нанося вреда,
Прозреваю: вышел на минутку ты,
Чтобы возвратиться навсегда.

Задачи Вселенной

Тучи низкие с тёмным брюхом
Обещают, как в мае, грозу,
Собираюсь слушать вполуха
От природы электробузу.

Грозовая заявит туча,
Распыляя электрозаряд,
О заправской электробуче,
Грому-молнии мало кто рад.

У Вселенной свои задачи:
Ей энергии не занимать,
Чтоб рассеять её и – дальше –
Накопить, чтоб рассеять опять.

Эту схему «порядок-хаос»
Назубок знал ещё Мезозой,
А ещё – что Вселенной самость
Обернётся не вешней грозой.

Не по системе

Нет закономерности в ряду,
Той, что по системе Фибоначчи,
Правда в числах, сложенных удачей,
В числах, что с удачей не в ладу.

Числа – то не мной открытый код,
Шифры к островкам воспоминаний,
Память и фантазия – на грани,
Вроде как – и правда, и развод.

Родилась легенда, можно – миф,
Оказаться мог за барной стойкой,
С верою неистребимо стойкой
В магию неоднозначных цифр.

По деревьям втайне не стучу,
Разговор давно иссяк с ромашкой,
И, конечно, верится с натяжкой
В магию перебродивших чувств.

Мысли маются мои во мне
Втихомолку, никуда не делись,
С Мнемозиной не встречался Велес,
Разве что в каком-то давнем сне

Он её одаривал богато,
Вычисляя унции, караты,
Цифрами наращивал удачу,
Вряд ли по системе Фибоначчи...

День прекрасен

Голубые небеса и волны
Обольщают время в тишине,
И в прострации, казалось, полной
Время прикорнуло на волне.

Вот утёс застыл породы белой,
Лаской волн пленён, но молчалив,
Плеск ритмичный волн смущает берег
Озорной игрой «прилив-отлив».

Жить мгновением, сиюминутно,
Только представляется простым,
День прекрасен, время неподкупно,
Лишь на миг оно сдаёт посты.

У сна есть дом

Сон на заре растаял вмиг,
Тот дом теперь мне часто снится,
Прошло уже почти лет тридцать,
И сон – нечаянно ль? – возник.

Вполне себе посильный труд –
Калейдоскоп воспоминаний,
Во сне он слился с утром ранним
Всего на несколько минут.

Минуты сгрудились в лета
То наших встреч, то расставаний,
Транслировались в тьму свиданий…
«Тьма» – «много»… или – «темнота»…

Конечно, дом при всём при том
Когда-то был гвоздём программы,
Чтоб стать ненужным, но упрямым
И досаждать восставшим сном.

И обитатели его –
«Иных уж нет, а те далече» –
Поведают ли тайну встречи
В том сне, кивая на родство?

А если честно, то меня
Не занимает это крипто,
Как и беспомощность реликтов,
Познавших таинство огня.

Давным-давно – в том был резон? –
Из дома счастье ускользнуло,
Не поскупившись на посулы,
И растворился дом, как сон.

Ещё раз про март

Ночь вычернила окна,
За ними – дождь и мрак,
Восточный город мокнет,
К дождю пристёгнут март.

Единодушье это –
Слепая дань векам,
Дождь спутником был ветру,
Он лил и подстрекал.

А что же март? – смирился
С раскладом бытия,
На ручейки разлился,
Как волнорез стоял.

Вихрастого бродягу
Терпел с пометкой «псих»,
Случались передряги
В масштабах городских.

Случалось не однажды
В потоке дней и лет:
Как солнце, март вальяжно
Лил не дожди, а свет.

Гляжусь в стекло асфальта,
Которое рябит,
Меня с весною марта
Рождение роднит.

Разные дожди

Разные дожди на свет родятся,
Вот слепой – прошмякал в пустоту,
Не способен ни хлестать, ни бряцать,
Солнцем иссушаем на лету.

Летнее заносчивое солнце,
Раскалённый день несуетлив,
Потому цыганским дождь зовётся,
Что горяч, внезапен и ленив.

Ливень скорый, теплый, благодатный
Разойдётся, думам вопреки,
Группками кучкуясь, и приватно
Рвутся в лес лихие грибники.

По-глухому стынет и канючит
Поздняя осенняя пора –
Сеет безотрадный и докучный
Дождь густой с утра и до утра.

Днём закатным, до обиды куцым,
Предваряя раннюю весну,
Россыпью алмазной обернуться
Может дождь, вторгаясь в тишину.

Гром небесный и гроза в разгаре
По сухому в перекличке прут –
Вскорости поток Вселенский грянет
И зальёт собою всё вокруг.

Верно, метеорный дождь рождает
Звездопад, цветеньем –тот же сад,
По поверью, звёзды, угасая,
Отворяют душам небеса.

Разные миры

Параллельные миры –
Тема вечная для мира,
Все сюжеты в ней остры –
И гротеском, и сатирой.

Вдохновляет тайный мир
Параллельностью закрытой,
Не придуман нивелир
Для миров – не-сателлитов.

Протянулись наугад
В неизвестность параллели
Тех миров, Вселенский взгляд
И мудёр, и привередлив.

Он прощупает всерьёз
Зазеркалья кущи-чащи,
Встречный вяжется вопрос,
В параллельность уводящий.

Он вполне такой земной –
Интерес вокруг астрала,
Мир непознанный, иной,
Видно, ждёт своих весталок.

Разное время

Время – оно бесконечное,
Со множеством прелюдий,
В нём рождаются люди,
В нём умирают люди,
В нём они просто живут,
Заботясь и не... о вечном,
Кося и жуя траву.

Время – оно бродячее,
Со множеством последствий,
Все мы родом из детства,
Доверчивого детства,
Все мы оттуда бредём,
И от восторга щенячьего
Не замираем, а мрём.

Время такое хрупкое,
Со множеством иллюзий,
Трещат по швам союзы,
Реальные союзы
Многотиражных затей,
Если играть по-крупному,
То не избежать потерь.

Время такое разное:
То – на распыл, то – с толком,
Шедевр лежит на полке –
Знак тотальной прополки –
И бессмертьем грозится,
Бойкотируя красное –
Цвет зловещей зарницы.

Время приходит, чтобы уйти
И уничтожить, и привнести,

Стать повествующей лептой,
А не рассыпаться пеплом.

АЛИНА ТАЛЫБОВА

«И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ…»

(К 100-летию со дня рождения Ингмара Бергмана)

«Ты не плачь, не плачь, не плачь. Не надо.
Это только музыка – не плачь.
Это всего-навсего соната…»
Е.Винокуров

«Мне Брамса сыграют –
Я вздрогну, я сдамся!..»
Б.Пастернак

«…Но если оба вдруг сдаются,
То сразу оба победят!..»
Е.Евтушенко

Ровно сорок лет назад, в 1978-м, уже культовый к тому времени шведский режиссер, сценарист, драматург и продюсер Ингмар Бергман оказался под следствием за неуплату налогов. Это бы еще полбеды – на нашей памяти немало киношных знаменитостей, от Чаплина до Софи Лорен, которые в то или иное время оказались в подобной малоприятной ситуации. Но, как выяснилось, Бергман не просто категорически не платил эти самые налоги, но еще и искренне не понимал, кому и за что он должен их платить, ибо большую часть своей жизни проводил в своем, до предела «авторском» мире, изредка совершая вылазки в окружающую реальность, обычно заканчивавшиеся очередным браком – или очередным киношедевром… Дуэль с законодательной машиной завершилась тем, что Бергман за подобное «диссидентство» оказался – ни много, ни мало – в психиатрической клинике. Видимо, блюстители закона посчитали это самым радикальным средством, способным вернуть непутевого творца в суровую реальность XX века. Средство помогло – после выхода из клиники Бергман в рекордно короткий срок снимает фильм «Осенняя соната», который навсегда вошел в топ-лист мирового авторского кинематографа.

В нынешнем году Бакинский Русский драматический театр им.С.Вургуна завершил свой очередной сезон звучным и точным аккордом – премьерой «Осенней сонаты» в постановке режиссера Ильгара Сафата, с Народной артисткой Азербайджана Людмилой Духовной в роли Шарлотты Андергаст. Спектакль, формально приуроченный к 100-летию со дня рождения Бергмана, получился на удивление «неформальным», избавленным от всякой обязаловки и юбилейщины, тонким, умным, сквозящим осенней горечью и неярким светом остывающего солнца, став поистине глотком свежего, насыщенного творческим озоном воздуха для измученных экстремальной жарой нынешнего лета бакинских театралов. Спектакль однозначно удался, порадовав зрителей сочетанием хорошего вкуса и демократичности, нешаблонным режиссерским прочтением и блестящими актерскими работами.

Как известно, Бергман сам писал все свои пьесы и сценарии, которые потом сам же и воплощал на сцене (или на киноленте). В фокусе его внимания в том или ином преломлении неизбежно оказывались две темы: смерть и трагический дефицит любви в современном мире. Вот и в «Осенней сонате» в полный голос звучит та же тема: «*Дочь и мать – какое трагическое сплетение любви и ненависти, зла и добра, хаоса и созидания…*» В свое время Бергмана называли среди прочего «единственным мужчиной, способным в полной мере понять женщин» – именно эту свою способность он еще раз убедительно продемонстрировал в «Сонате». Тема «дочки-матери» (а в данном случае уместнее сказать «дочки-мачехи»), поднятая им, предельно драматична и, увы, вечна: один из самых распространенных мифов человечества – миф об обязательной родительской (тем паче, материнской) любви к своим чадам. Этот «основной инстинкт», уходящий корнями в доисторические времена, стал одним из главных брендов и фетишей людского социума, веками культивируясь в человеческом сознании религиозными установками, общественной моралью, тысячами книг, цитат, песен, фильмов… Между тем, присмотревшись к реальному, а не к иллюзорно-возвышенному миру, приходится констатировать: да, безусловно, родительская (материнская) любовь существует, являя подчас чудеса преданности и самопожертвования, но… Но давайте оглянемся вокруг – разве мало мы видим даже в ближайшем окружении печальных примеров, когда дети являются отнюдь не смыслом родительского бытия, а всего лишь *обязательным* и оттого донельзя раздражающим фактором даже во вполне благополучных на первый взгляд семействах? Дальше – больше: разве история человечества знает мало примеров драматического, а порой и трагического несходства, отторжения людей, связанных узами кровного родства – так же, как и удивительного духовного совпадения людей, этим самым родством абсолютно не связанных?

Не углубляясь сейчас в вечную проблему противостояния отцов и детей, не пытаясь проникнуть в больную психику родителей-садистов или анализировать проблему движения «чайлд-фри»[1], ширящегося сегодня в мире, давайте просто остановимся на некой исходной точке, признав, что кровное родство вовсе не гарантия трогательной пожизненной любви между теми, кто оказался связан им в этой жизни. Помните, у Леонида Филатова: «*Перепутал год, /Перепутал век – /И тебе не тот / Выпал человек…*» Обычно эти слова относят к несовпадению в любовных тандемах, но ровно с таким же правом их можно отнести и к парам «мать-дочь», «отец-сын» и т.д. Загляните хотя бы в глобальную сеть: сколько там сегодня форумов, напитанных слезами и сердечной болью от противостояния, казалось бы, самых близких на свете людей – тех, от которых мы прежде всего ждем поддержки, понимания, защиты от жестокого внешнего мира… А если вспомнить, что большинство мужчин (во всяком случае, в нашей культуре) имеют приятное обыкновение абстрагироваться от взращивания и воспитания собственных чад, то в фокусе (я бы даже сказала, в прицеле) общественного внимания в первую очередь оказываются отношения именно с матерью (соответственно, выступающей также в ипостасях бабушки, тещи, свекрови). И сколько же в этом фокусе изломанных судеб, сорванных нервов, криков души о любви, оставшейся безответной, переплавляющейся с ходом времени в ненависть, в патологию… И, конечно же, самая драматическая комбинация на этом поле – мать и дочь.

[1] «child-free» (англ.) – букв. «свободные, избавленные от детей», современное движение, провозглашающее сознательный отказ от материнства и отцовства.

Именно этот сложнейший психологический узел и стал темой «Осенней сонаты», вызывая на протяжении вот уже четырех десятилетий самый живой отклик у читательской и зрительской аудитории во всем мире. Вот и в Баку 2018-го «Соната» прошла буквально «на ура», вызвав искренние слезы на глазах зрителей и заставив снова и снова аплодировать создателям спектакля за пережитый духовный катарсис.

Говорят, всех нас в осеннюю пору жизни тянет с равной силой как к своим истокам, так и к продолжению – детям, внукам… Сюжет представленной нашему вниманию истории абсолютно банален: известная пианистка Шарлотта (Людмила Духовная) после долгих лет отсутствия приезжает в маленький городок, где ведет свою ничем не примечательную жизнь ее дочь Ева (Румия Агаева) со своим добрым, но опять же ничем не примечательным мужем-пастором (Алексей Сапрыкин) и сестрой-инвалидом (Тамила Абуталыбова). Яркой тропической птицей впархивает блистательная Шарлотта в серое провинциальное бытие этой не слишком счастливой семьи… Что привело ее сюда? Стремление передохнуть от суеты светской и гастрольной жизни? Настойчивые приглашения Евы? Желание пообщаться с дочерью, ощутить себя в лоне любящей семьи? Последнее – вряд ли: ведь за все эти годы, регулярно получая трогательные письма от дочери, Шарлотта ни разу так и не удосужилась навестить ее, не успев даже увидеть собственного внука, трагически погибшего некоторое время назад.

Непростая миссия досталась любимице бакинской публики Людмиле Духовной – в первую очередь потому, что в зрительской памяти еще жива блистательная Ингрид Бергман, исполнившая эту роль в фильме своего звездного однофамильца, с ее потрясающей харизмой, тщательным прорисовыванием деталей, тончайшим психологизмом… Можно в этом ряду упомянуть и «модную», но, на мой взгляд, неоднозначную версию «Современника» с Шарлоттой-Неёловой… Но Духовной не впервые тягаться с великими предшественницами и звездными современницами (достаточно вспомнить ее Филумену Мартурано, миссис Сэвидж и многие другие знаковые роли в ее «послужном списке»), и, надо отметить, она всегда выходит победительницей в этих виртуальных «турнирах». Так и на этот раз: не подражая великой Ингрид и не ломая классического рисунка роли в поисках ложной оригинальности, она, с подачи Ильгара Сафата, создает на сцене свою Шарлотту – яркую, талантливую, сложную, сильную, страстную, жесткую, ранимую, одинокую… Список эпитетов можно продолжать и продолжать – поистине тут есть, что играть, и есть, где развернуться драматическому таланту примы РДТ, раскрывая самые разные грани своего дарования и профессионализма. Такое ощущение, что актриса и эта роль уже давно шли навстречу друг другу, и встреча эта оказалась радостной не только для них, но и для всех нас, собравшихся в этот вечер в театральном зале. Как известно, нет однозначно хороших и однозначно плохих людей – слишком много красок намешано Творцом на его «палитре» и, соответственно, в наших душах. Именно поэтому так важно актеру выстроить правильное отношение к своему персонажу, в первую очередь, не осуждая или прощая, а – пытаясь понять того или иного человека, чтобы прожить с ним или с ней целую жизнь за короткие два часа, проведенные на сцене.

Кстати, для Ингрид Бергман эта роль стала первой и единственной сыгранной у великого однофамильца, – звезды не сошлись характерами и творческим подходом. Ингрид иронизировала над, на ее взгляд, надуманными и нудными диалогами, составлявшими творческую «фишку» Бергмана, что, само собой, не добавляло ей симпатии в его глазах… Но, к счастью для всех нас, с недавнего времени мы имеем

возможность наблюдать, как сложился и набирает силу замечательный творческий тандем «Ильгар Сафат – Людмила Духовная». История драматического искусства полна примеров того, как важно актеру найти «своего» режиссера, а режиссеру обрести «своих» актеров – именно такое точное попадание, совпадение профессиональных и личностных позиций и является главным залогом полнокровной творческой реализации. Еще одно подтверждение этому – недавний успех «Бульвара Сансет», поставленного все тем же Ильгаром Сафатом специально для Людмилы Духовной и ставшего ее триумфальным возвращением на сцену после затянувшегося творческого простоя.

Выпускать премьеру под занавес сезона, когда в городе витает «отпускное» настроение и кажется, что все наиболее интересные театральные события уже произошли – задача не самая благодарная. Чтобы привлечь зрительское внимание в этот период, нужно действительно нечто неординарное и по-настоящему талантливое, и сегодня можно констатировать, что на фоне других постановок последнего сезона «Осенняя соната» – это безусловная удача театра, я бы даже сказала – некий прорыв, по той простой причине, что, ой, как нечасто в последнее время, выходя из театрального зала, осознаешь, что тебе хочется непременно прийти на спектакль еще раз. Мы сегодня живем в эпоху одноразовой продукции, и нередко эта одноразовость распространяется и на область нематериальную – мысли, чувства, арт-объекты. Соответственно, из театрального репертуара практически пропали спектакли, которые, как это было в золотую эпоху РДТ, шли бы по много лет, становясь событием и открытием подчас для нескольких зрительских поколений. По этой же причине приходится все увеличивать число премьер и ужимать срок их подготовки, чтобы оперативно слепить что-то новенькое, но, увы, недолговечное – строго по Куприну: «*Пьесы ставились, как на курьерских… Вторая репетиция была и генеральной, а небольшие драмы и комедии шли вообще с одной репетиции…*»[1]

Еще в пору пребывания в ипостаси активно пишущего о театре журналиста, я любила бывать на предпремьерных прогонах – при всей своей неровности в них всегда есть что-то одновременно приподнято-праздничное и взволнованно-неформальное, и точно так же не любила бывать на премьерах с их светской помпезностью и соответственным напряжением, как на сцене, так и в зале… (Кстати, во всех своих поездках всегда прошу своих театральных друзей провести меня именно на репетиции, где есть возможность наблюдать, как зарождается и формируется тот самый творческий «продукт»). Спектакль – это ребенок, которому нужно время, чтобы освоиться в новой для него реальности и прочно встать на ноги, именно поэтому настоящие театралы предпочитают не премьерные, а более поздние, уже «обыгранные» спектакли. Однако, к чести создателей и радости зрителей бакинской «Сонаты» нынешняя премьера смотрится удивительно слаженно и легко, раскованно и органично, за что, в первую очередь, респект постановщику Ильгару Сафату, которого традиционно отличает хороший вкус, ясный интеллект, не отравленный снобизмом, вдумчивый подход к драматургическому материалу, уважение к актерам и зрителям. Именно все перечисленное и позволяет ему, не ноя и не жалуясь на падение культурных вкусов в обществе, осуществлять успешные постановки классики разных столетий, не насилуя ни ее, ни нас псевдо-авангардными прочтениями и ультра-радикальными постановками – думается, зрители за последние пару десятков лет уже явно подустали от Онегина в образе наемного киллера и татуированного по шею Ромео в образе крутого

[1] А.И.Куприн. «Как я был актером».

диджея… Кроме перечисленного, Ильгару Сафату присуща еще одна важная черта, что свойственна по-настоящему талантливым людям в любом возрасте и статусе – он гибок и обучаем, готов меняться и менять что-то в своем профессиональном видении и инструментарии. Вот и этот его спектакль стал очевидным подтверждением того, что театральный профессионализм режиссера крепчает от постановки к постановке.

Румия Агаева, исполнившая в спектакле партию «второй скрипки», стала лично для меня открытием нынешнего сезона. В фильме Бергмана в этой роли занята одна из его любимых актрис – Лив Ульман, которая появляется на экране во многих работах мастера. Драматический накал этой роли, возрастающий от сцены к сцене, требует серьезной работы и отдачи от ее исполнительниц. И если Шарлотта – натура неоднозначная и сложная, то и дочь ее (при всей наружной ординарности и даже пресноватости) ничуть не уступает в этом смысле матери. Налицо – характер, прочный внутренний стержень, который позволяет ей достойно проходить через внешние и внутренние испытания, нести ответственность за близких. При всем внутреннем надрыве и неблагополучии ее внешнего и внутреннего мира, Ева не сдается, ее держит сознание нужности мужу и сестре, верность памяти маленького сына. Невольно вспоминаются слова о том, что Бог дает всем нам ровно столько, сколько мы можем выдержать… Пожалуй, в Еве в исполнении Румии Агаевой отчетливее читается бунтарское начало, натура, рвущаяся из пут судьбы, отказывающаяся смиряться и признавать сложившийся порядок вещей – тут и яростное желание доказать матери, что она достойна ее любви, и раздирающая душу смесь влечения и отторжения, застарелой детской обиды и желания наконец «вырасти», распрямиться, вздохнуть полной грудью, говорить и быть услышанной самым близким человеком… Молодая актриса находит убедительные краски для создания образа, не позволяя ничего лишнего, точно останавливаясь на невидимой, но такой опасной грани, за которой закачивается актерство и начинается актерствование. И хотя кто-то из моих коллег писал в рецензии на спектакль о «срыве» и «истерике», представленных в спектакле, я позволю себе не согласиться с этими определениями: не было на сцене модной нынче истерии, выкручивания зрительских нервов – была большая жизненная, психологическая драма и живые люди, переживающие ее на наших глазах.

Нельзя не отметить и впечатляющую пластичность Румии – и это опять же не просто умение классно станцевать «на заданную тему», а лепка того самого образа, в том числе и пластическими средствами. Роль Евы – несомненная удача молодой актрисы, за что опять же стоит поблагодарить режиссера и – отдельной строкой – ее великолепную партнершу Шарлотту-Духовную. Есть прекрасная пословица: «Только те молодые птицы не попадают в силки, которые летают вместе со взрослыми птицами». Ах, как же дорого стоит возможность «полетать» рядом с такими профессионалами, как Людмила Духовная!.. Знаю, что Людмила Семеновна никогда не упускает случая помочь, поддержать талантливый театральный молодняк, поделиться с ним наработанным за всю ее сценическую жизнь профессиональным «багажом», секретами мастерства. (Здесь снова уместно вспомнить «Бульвар Сансет», где в поле такого прекрасного творческого «облучения» оказался еще один молодой партнер Людмилы Духовной Ярослав Трифонов, так же интересно заявивший о себе в этом спектакле). Да просто само ее присутствие на сцене – уже замечательная школа, было бы желание вбирать и впитывать в себя ее щедрые «подарки». У Румии Агаевой такое желание, однозначно, присутствует, и, как результат, мы могли наблюдать на сцене блестящий актерский дуэт, где звезда «не тянет одеяло» на себя, а моло-

дая актриса, благодаря такой поддержке, играет раскованно и ярко, в полной мере раскрывая свое природное дарование. Уверена, что мы еще не раз будем аплодировать актерским удачам Румии Агаевой.

Непростая роль досталась и молодой актрисе Тамиле Абуталыбовой. В режиссерском прочтении ее Лена – это не столько реальный человек, сколько символ боли, неблагополучия, болезненной патологии в отношениях матери и дочерей, истерзанной души, запертой в полуразрушенном теле, яростно бунтующей против своего полурастительного бытия, бессилия что-либо изменить и всего этого жестокого мира в целом… Ее Лена поистине звериным чутьем ощущает неискренность матери, ее внутреннее отторжение, ведь тяжело и неизлечимо больная дочь – это источник того самого душевного дискомфорта, от которого всю жизнь и подсознательно, и вполне сознательно бежит Шарлотта. Удачно проработана идея с поворотом сценического круга – даже когда кровать, к которой прикована Лена, скрыта от глаз зрителя, она незримо участвует в происходящем, ее присутствие, как некоего трагического фантома, темной тени, нависшей над всеми участниками драмы, читается совершенно отчетливо,

«Негромким», но органичным предстал в своем образе Алексей Сапрыкин (кстати, он не только один из наиболее заметных сегодня актеров РДТ, но и многолетний автор нашего журнала). Его Виктора отличает присущее северному менталитету отсутствие ярких внешних проявлений личных чувств и желаний. Перед нами немолодой, уставший человек, безнадежно примирившийся с реальностью и принимающий этот мир и его обитателей такими, какие они есть. Но чувства его, скрытые под наружной «нордической» холодностью, в реальности глубоки и болезненны – нет-нет они и прорываются наружу из-под покрова холодного спокойствия, которым он окутал себя, как дымом из любимой трубки. Тут и переживания за изломанную психику жены на фоне отчетливого осознания того очевидного факта, что Ева никогда не любила его, и неслабеющая со временем скорбь по потерянному ребенку, обернувшаяся драматическим бунтом против того Бога, которому он верно служил всю жизнь… Но ведь не зря Ева признается, что она не знает, что с ней стало бы, если бы не Виктор, что главное в их отношениях – это то, что они настоящие друзья. А ведь такое в нашей жизни стоит не меньше, а, возможно, и больше, чем самая жаркая и всепоглощающая страсть, потому что правильно было замечено: «*Брак – это договор о совместном противостоянии трудностям*», когда двое людей плечом к плечу, спина к спине противостоят всем житейским бурям, поддерживая, спасая и утешая друг друга.

Во все времена любое по-настоящему творческое событие – это то самое кресало, которое с легкостью высекает огонь в сердцах и душах современников. Еще одно спасибо создателям спектакля уже за то, что, выйдя из театра, многие мои знакомые в тот же вечер взялись перечитывать бергмановскую пьесу и пересматривать культовый фильм. Кстати, тут-то многие с удивлением и обнаружили принципиальное различие финалов шведской и бакинской «Сонат» – в первоисточнике Шарлотта попросту сбегает, стремясь к такой привычной ей атмосфере творчества, праздника, мужского внимания – только в ней она может быть собой и дышать полной грудью, задвинув в дальний уголок сознания память о бедах так и оставшихся для нее чужими и непонятными дочерей, о своей неспособности стать им опорой и утешением. Бергман, с его невротическим мироощущением, просто не мог бы вывести иного логического финала этой истории, но для нас, сегодняшних, «объевшихся» чернухи и

безнадеги, живущих в не самое легкое время, когда требуется постоянное напряжение сил и нервов, вполне естественным предстает решение Ильгара Сафата дать иной финал своему спектаклю. «Нет, – говорит он, – не все еще потеряно и разрушено, еще можно разорвать этот порочный круг наследственной нелюбви. Пока мы живы, пока мы чувствуем биение сердца – никогда не поздно остановиться, оглянуться, понять и простить, взглянуть друг другу в глаза, протянуть руку навстречу другой руке, обняться, заплакать и засмеяться…» И это вовсе не банальная приверженность к «хеппи-энду» – мы безоговорочно верим этой «импровизации на тему Бергмана», потому что в ней нет ни одной фальшивой ноты, ведь, как было сказано когда-то еще одним великим драматургом, «*Дайте человеку хотя бы на два гроша надежды – нельзя жить без надежды!*..» Абсолютно убеждена, что главное предназначение искусства – дарить человеку эту самую надежду, даже там, где ее, кажется, нет вовсе, что даже трагедия должна быть, пусть и не явно, но все-таки «оптимистической», ибо иначе все наше бытие погрузится во мрак безнадежности, отчаяния, мизантропии, агрессии… Именно поэтому в бакинском переложении «Сонаты» Шарлотта в финале остается с дочерями, чтобы вместе поискать пути друг к другу, попробовать залечить жгучие раны прошлого и выстроить новые отношения, проникнутые любовью и заботой, стать близкими не только по факту рождения, но и по духовному, сердечному родству… Удастся это им или нет – ответ на этот вопрос режиссер оставляет открытым, предоставляя каждому из нас отвечать на него по-своему, но то, как органично на протяжении всего спектакля нас подводят к такой кульминации этой непростой истории – однозначное свидетельство того, что спектакль состоялся и стал серьезной заявкой со стороны его создателей на будущие успехи.

В заключение надо отметить еще два немаловажных момента. В подтверждение давней истины, что талантливый человек талантлив, если не во всем, то, во всяком случае, во многом, Ильгар Сафат, как правило, сам занимается как музыкальным, так и художественным оформлением своих работ, костюмами своих сценических персонажей. И то, и другое, и третье получается у него так же интересно и талантливо, как и все остальное, внося свою лепту в сложный и красочный мир спектакля. Прелюд Брамса, ставший сквозной мелодией «Сонаты», то обманчиво прекрасен в своей безупречной гармонии, а то превращается в бьющее по нервам нагромождение звуков – ведь это еще одно «зеркало», отражающее внутренний мир героев.

Среди мелких недочетов хотелось бы отметить, что порой в театральных работах режиссера не хватает глубины сценического пространства, которое смотрится по-экранному плоским – хорошо бы подумать о том, чтобы каким-то образом преодолеть этот момент в будущих постановках, а также разобраться с недостаточно отчетливым в определенных моментах звуком, чтобы до зрителя доходило каждое произнесенное на сцене слово… Но все это уже детали, которые легко шлифуются в рабочем порядке.

Остается сказать, что присутствовавший на премьере Посол Швеции в Азербайджане был настолько впечатлен спектаклем, что сегодня ведутся переговоры о том, чтобы бакинская «Соната» была сыграна и перед шведскими зрителями. Искренне желаю, чтобы этот проект увенчался успехом и азербайджанское театральное искусство было в очередной раз представлено на международной сцене таким сильным творческим аккордом.

ИБРАГИМ ИМАМАЛИЕВ

ПАТРИАРХ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

Это было грандиозное событие: концерт Михаила Анчарова, патриарха авторской песни, последнего представителя эпохи романтизма в советской литературе, можно даже смело сказать – ученика великого Александра Грина. Концерт состоялся в ДК «Металлург» города Москвы 21 мая 1981 года! Тогда никто не знал, что это будет одно из последних выступлений Михаила Леонидовича, но все были в курсе, что из-за запретов врачей ему долгое время было противопоказано даже выходить на сцену – (мозаичное зрение) Дело в том, что огромное внутреннее напряжение, с которым Анчаров исполнял свои песни, отрицательно сказывалось на зрении. А для профессионального художника Михаила Анчарова, выпускника Московского государственного художественного института имени Сурикова 1954 года по специальности «Станковая живопись», полная потеря зрения была бы трагедией! И вот, после долгих уговоров руководства московского Клуба Самодеятельной Песни (КСП), врачами было дано разрешение на его появление на сцене, с условием, что его песни будет петь не сам автор, а исполнители из КСП, и весь вечер пройдёт в режиме свободного общения выступающих с залом.

Концерт проводился после завершения 25-го слёта Московского КСП, участником которого я был. Автору этих строк, несмотря на его обоснованные возражения (всё-таки – не исполнитель!), предложили спеть на концерте две песни Анчарова – «Любовницы» («*Слава Богу, погода мглистая...*») и «Песню про циркача, который едет по кругу на белой лошади и вообще он недавно женился» («*Губы девочка мажет в первом ряду...*») Так я оказался единственным не москвичом среди исполнителей песен Анчарова. Это, конечно, была высокая честь и ответственность!

Для того, чтобы отрепетировать, о чём же мы будем говорить на сцене, нас повели в гости к Михаилу Леонидовичу Анчарову, в кооперативный дом «Молодежь театров», что возле станции метро «Маяковская». Дверь квартиры открыл крупный седовласый мужчина. Он был красив той красотой, о которой ленинградский автор Валерий Лобановский написал в одной из своих песен – «Ещё в озёра наших глаз девчонки бегают топиться!» Я сразу подумал: «Сколько же там утонуло?! В этих глазах...» Недаром он просил, чтобы вспоминали о нём так: «Он страстно любил в своей жизни две вещи; творить и ...» (тут он обозначил крепким глаголом слово «любить») Потом добавил серьёзно: «И то, и другое возвышает нас над смертью!»

С первых же фраз никакой дистанции между нами не возникло. Михаил Леонидович общался с нами как с равными. Создавалось впечатление, что мы ровесники. Но в то же время все мы чувствовали, какой это колоссальный человек, с огромным жизненным опытом и энциклопедическими знаниями! Помню, в процессе разговора Михаил Леонидович привел какой-то пример из области микробиологии, который мог знать только специалист. Но основными темами разговора были, конечно, Авторская песня, Поэзия, Литература... В Анчарове сочетались такие качества, как прямота, мудрость философа и наивность ребёнка. Будучи старше нас вдвое

(во время ВОВ проходил службу в Воздушно-десантных войсках, участвовал в боевых действиях Советской Армии в Маньчжурии), он у нас спрашивал: «Ребята! В газете «Правда» и «Известия» я читал, будто бы Галич продался ЦРУ... Это правда?!» Мы все дружно замахали руками: «Враньё всё это!»

Больше всего от нас «досталось» Михаилу Леонидовичу за первую советскую мыльную оперу – телесериал «День за днем», автором сценария которого он являлся. По этому сериалу выходило, что люди в коммунальных квартирах живут душа в душу, всячески поддерживая друг друга ... Но мы-то знали, как собачатся в советских коммуналках жильцы из-за очереди в туалет, ванну, за кухонную плиту! Анчаров отбивался под нашим натиском, как мог. Он говорил, что описывал частный случай, показывая, что можно жить и так, но из-за зрительского успеха сериала (мешками приходили письма на ТВ!) с него каждый раз требовали всё новый «текст слов»... Поэтому частный случай этот разросся до масштабов целой страны! А это уже была большая неправда!

Но, как оказалось, мы предугадали содержание записок, которые присылали на сцену из зрительного зала во время концерта.

Концерт

Разговор о Песне, Литературе и Поэзии начался с просьбы исполнить песню Анчарова «Кап-кап».

...День проходит без следа –
Кап-кап.
Ночь проходит. Не беда –
Кап-кап.
Между пальцами года
Просочились – вот беда.
Между пальцами года –
Кап-кап.

Рассказывая об истории создания этой песни, Михаил Леонидович говорил, что хорошие стихи должны быть как жемчужинка – цельными, сверхестественной простоты. «*Строки – как в японском Танка. Там метафора скрытая... Вот песня «Кап-кап» совершенно непритязательная. Но дело в том, что эту песенку я писал месяца полтора (!), а там всего пять слов, которые переворачиваются так и этак... Но я хотел, чтобы она была ЛИТАЯ...*»

(*Я это называю «цельным дыханием» стиха, когда автор выдерживает свою вещь как бы «на одном выдохе» и не переходит на частое перебирание слов и образов. Так дышат собачки...* – **И.И**.)

Что же является «жемчужинкой» песни? Разные внутренние задачи бывают у сочинителей... Хорошая песня – раскованная, искренняя. Неискренние песни писать вообще не имеет смысла. Настоящая песня рождается, как писал Афанасий Фет:

... не знаю сам, что буду
Петь – но только песня зреет…

Настоящая песня начинается задолго до того, как она проявляется в словах! Это когда внутри возникают какие-то процессы, когда музыка слова начинает звучать раньше, чем само слово.

Интересно, что с этими мыслями Михаила Анчарова перекликаются и слова Ивана Бунина из статьи «Как я пишу»: «*Не готовая идея, а только самый общий смысл произведения владеет мною в этот начальный момент – лишь звук его, если можно так выразиться... Если этот изначальный звук не удастся взять правильно, то неизбежно или запутаешься и отложишь начатое, или просто отбросишь начатое, как негодное...*»

Борис Пастернак также подчеркивает первичность и изначальность звука в Поэзии в своем стихотворении «Определение поэзии».

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок.
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок...

Любопытный пример магии звука в стихах привел Анчаров, рассказывая о своей песне «Песенка про психа из больницы имени Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку».

Вся песня внутри целиком созрела, и даже появились первые строчки – «Я из шкафа достаю балалаечку свою...»

И всё! Внутренне звучание стиха прерывалось. И только через полтора месяца поэт нашел «слово-занозу» и заменил его. Новая строчка звучала – «Я из шкаПа достаю...». Казалось бы, слово «шкаф» заменено на синоним – «шкап». Даже по звучанию: одна глухая согласная «Ф» была заменена другой глухой согласной – «П». Но магия состоялась!

Михаил Леонидович наталкивает нас на мысль, что в структуре слова есть нечто более важное, чем все эти «фонемы» и «морфемы»!

Образность языка.

Говоря об образности поэтического языка, Анчаров ещё раз подчеркнул необходимость искренности и отсутствия фальши:

– Некоторые авторы в подсознательном желании произвести впечатление на своего читателя «впадают в антиквариат», где словарь и лексика совершенно другие... Какие-то там «журфиксы, манжеты, горжеты, дружеские суаре» и проч. Начинает попахивать нафталином...

(*В бардовской песне в годы преследования инакомыслия авторы часто прибегали к эзопову языку. Аллегория, ирония, перифраз, аллюзия, использование басенных и сказочных «персонажей» были распространенными приемами этой игры в конспирацию...* – **И.И.**)

Ассоциативная поэзия также часто применялась в авторской песне. Особенно славилась этим ленинградская школа бардов (клубы «Восток» и «Меридиан») Как шутил классик жанра ленинградец Юрий Кукин в своей дружеской пародии на другого классика – Евгения Клячкина:

... Я умен, но а тебе невдомек,
Мой сверхассоциативный намек.
А будильник все звенит и звенит,
Розовеет от намеков гранит.

Михаил Леонидович советовал осторожно и внимательно подбирать метафоры и образы при написании стихов, «*когда твоему душевному состоянию соответствует этот словарь, этот ритм, эта пластика, эти мысли...*»

Некоторые авторы перенасыщают образами и метафорами свои «заумные» стихи и песни до такой степени, что теряется смысл написанного. Читатели же, в недоумении своем, предполагают наличие у автора некоей, непостижимой для них, «мудрости»!

Мне кажется, что Галич в стихотворении «Мы не хуже Горация» именно об этом написал:

Что ни день – фанфарное безмолвие
Славит многодумное безмыслие.

Михаил Леонидович на примере своей песни «МАЗ» показал, как важна точно подобранная метафора. В первоначальном варианте где-то в середине стихотворного текста были такие слова:

Видишь, крошка, у паперти неба
МАЗ трехосный застрял в грязи?

Далее рассказывает сам Анчаров: – «... и я застрял! В той же самой грязи... Ничего сделать не могу! И только года через полтора или два я вдруг понял – всего лишь два словечка «*у паперти*»... Из другой оперы...

Я чувствовал, что напишу оду этому водителю МАЗа, где-то во мне зрели строчки, о которых я даже и не подозревал:

Крошка, знаешь, зачем я гордый?
Позади большой перегон.

И только когда я заменил в строчке эти два слова «*у паперти*» и получилось: *«Видишь, крошка, у самого неба...*» – всё пошло!»

Литературная эстетика Анчарова.

– «Я люблю такие вещи, которые написаны без предварительного плана... Брать сюжет и зарифмовывать его – мне кажется, это дело никчёмное... Если хороший сюжет – так расскажи о нем! Незачем превращать это дело в стихи.... Не потому, что ты, как дурак, шел наобум, а потому, что ты нащупывал словами то состояние, искал тот словарь и ту пластику, которые были бы адекватны тому, что ты чувствуешь... Хоть приблизительно. До конца никогда не получается. Бесполезно мучиться! Просто в какой-то момент понимаешь, что ВСЁ! На этом этапе «я весь»... Больше сделать нельзя! Когда такое в вещи просвечивается, чувствуешь, что проявляется какое-то новое качество.

Это не то, что говорил Хэмингуэй: «Я всегда старался писать по принципу айсберга. На каждую видимую часть семь восьмых его находится под водой. Все, что вы знаете, вы можете опустить, и это только укрепит ваш айсберг».

(*Это активное привлечение читателя к разгадыванию подтекста, спрятанного в контексте писательских шарад.* – **И.И.**)

Анчаров считает, что «*это чисто арифметический подход. Да, действительно, есть глубина, но когда из большого материала, красочного, отобрать небольшое количество слов, то будет сухость дикая!*»

А искусство писательского труда, наверное, в том и заключается – выжать воду из текста, сохранив все живительные соки его!

Поэтика самого Анчарова богата мощнейшими и «сочными» метафорами и образами... Взять, к примеру, хотя бы «Балладу о танке Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте». Всего лишь пара образов –

«Я железный слон, и ярость моя глядит в смотровую щель...» и

«... автострады кровавый бинт наматывался на трак...»

Однако, провозглашая «свободный поиск» в написании стиха, Михаил Леонидович привел как противоположный пример хрестоматийную статью Владимира Маяковского «Как делать стихи». В ней Маяковский утверждал, что сочинение стихов – производственный процесс, тяжкий труд... В первой части статьи поэт приводит обоснование этого тезиса и забавный рецепт борьбы с рифмоплётами:

«Редактора знают только «мне нравится» или «не нравится», забывая, что и вкус можно и надо развивать. Почти все редактора жаловались мне, что они не умеют возвращать рукописи, не знают, что сказать при этом.

Грамотный редактор должен был бы сказать поэту: «Ваши стихи очень правильны, они составлены по третьему изданию руководства к стихосложению М. Бродовского (Шенгели, Греча и т.д.), все ваши рифмы – испытанные рифмы, давно имеющиеся в полном словаре русских рифм Н. Абрамова. Так как хороших новых стихов у меня сейчас нет, я охотно возьму ваши, оплатив их, как труд квалифицированного переписчика, по три рубля за лист, при условии предоставления трех копий».

Поэту нечем будет крыть. Поэт или бросит писать, или подойдет к стихам как к делу, требующему большого труда».

Недаром даже в названии этой статьи Маяковский не употребил глаголы «сочинять», «творить», «придумывать», «писать», а заменил их рабочим глаголом «делать»!

Во второй части статьи Маяковский подробно описывал, как у него рождались стихи «На смерть Есенина».

«Эта статья всегда сбивала с толку литературоведов... Потому что вроде бы он программный поэт, всегда отчетливо знающий, о чем пишет, знающий, что стихом опровергнет такой уход из жизни Есенина...

Но вначале у него ничего не клеилось, не было определенного душевного настроя, не было внутреннего протеста...

И вот однажды он шел по улице, где было много людей, и вдруг в нем начал зреть ритм –

Ра, ра, ра, ра, ра, ра, врезываясь
Ра, ра, ра, ра, ра, ра, трезвость...

Какая «трезвость», какое «врезываясь»?! Какое отношение к Есенину имели эти слова? Искусствоведы тут всегда «ломают ноги» (выражение Анчарова) – ничего себе начало программного стихотворения!.. А дело всё в том, что он вначале почувствовал ритм, этот ритм стал «примагничивать» словечки, и пошел потом проясняться смысл этих слов. Получился стих! Причем, что интересно, в данном случае он даже знал «адрес приезда», знал, о чем напишет, знал состав идей, «пункт назначения»...

А сплошь и рядом есть стихи, где неизвестен конечный пункт, куда автор придет, но он начинает писать и по дороге догадывается.

Вот Есенин говорил про Маяковского:

«*Маяковский поэт для чего-то, а я поэт от чего-то!*»

Ну, а мне лично ближе когда ВЫЯСНЕНИЕ ТЕМЫ – ЕСТЬ ФИНАЛ РАБОТЫ, А НЕ НАЧАЛО!»

Интересен был ответ Анчарова на вопрос, может ли Художник писать о Зле, чаще видя плохое, чем хорошее?!

«Почему бы и нет?! Искусство – не жалобная книга, и если ты пишешь о зле, то у тебя должна либо прямо в словах, либо в пафосе вещи ощущаться некая позитивная программа – что ты можешь этому злу противопоставить! Зло – это материал для добра(!)...Зло в искусстве – это доказательство высоких истин путем отрицания».

И в конце этой статьи, я, как человек, посвятивший авторской песне почти всю жизнь, не могу не привести высказывание Патриарха авторской песни Михаила Леонидовича Анчарова о любимом мною виде искусства:

«У меня песни никогда не были «промышленными». Я за них денег сроду не получал! У меня не было задачи тут же торгануть, как говорится, «выдать товар». Я считаю, что есть смысл делать авторскую песню только когда тебя «переполняет»... Есть же профессиональные литераторы, когда люди этим живут. Они должны получать деньги за то, что они написали. Хочешь не хочешь, происходит всякое подстёгивание, и даже когда не хочешь писать – садишься, преодолевая себя, и т.д. Мне кажется, что весь смысл авторской песни состоит в том, что она не профессиональная в денежном смысле, она – не платная песня! То есть, пускай автор зарабатывает на чем-нибудь другом... На чем угодно! Конечно, на этом этапе не удержится... Потому что когда пахнет эстрадой, пахнет выступлениями, пахнет деньгами, я сомневаюсь, что очень много народа удержалось от этого.

А призывать к подвижничеству – не могу никого призывать!»

ВИТАЛИЙ ИГОЛЬНИКОВ

Полночное

Завывают за окном
ветры пыльные,
Наклоняюсь над листом –
вязь чернильная.
И дрожит перо в руке,
мысли комкая,
Синей коркой по строке –
наледь тонкая.
Воют ветры на луну
стаей волчьею,
Пальцы теребят струну
темной полночью.
Словно взмыленный рысак
бью подковою,
Но не пишется никак
песня новая.
Сердцем пойманный мотив
врет аккордами,
Нервы к черту отпустив,
корчу морды я.
Строки столбиком стиха
не сплетаются,
Слов ненужных шелуха
набивается.
Провисают, словно плющ,
рифмы дохлые,
Слезы брызнули дождем –
щеки мокрые.
В муках тужусь над листом –
роженицею...
Бьется темень за окном
черной птицею.
Буквы ходят ходуном,
ветры бесятся,
По листу метет пером
околесица.
Струн гитарных канет звук
в затухание....
Всё бессмыслица, мой друг, –
графомания...

Времена года

Сменит осеннее золото
Зимних снегов белизна.
Месяцы скользкого холода,
Долгие ночи без сна.
Длинными рельсами тянутся
Вязкие зимние дни –
В старом блокноте останутся
Белою рифмой они.

Стихнут метели с морозами,
Робкое солнце взойдет.
Вот и подснежник с мимозою,
Новый украсили год.
Птицы домой возвращаются,
Стаями кру́жат кру́жат они ...
В стайки стихов превращаются
Эти весенние дни.

Летние месяцы яркие!..
Города красочный вид.
Шумные пляжи и парки,
Солнце над морем горит,
Парус на волнах качается,
Облака легкий дымок...
Жаркие дни не вмещаются
В белый тетрадный листок...

...Вечером зимним, завьюженным
Снова согреют стихи.
В осень дождливо-простуженную
Майские вспомним деньки!..
Шарик наш крутится-вертится:
Ветры, жара, холода...
Дни замыкаются в месяцы,
Вдаль уплывают года...

Вместо молитвы

Я, вроде, не рубил с плеча –
Не все вокруг повалено,
И где-то там горит свеча,
Что мной была поставлена.
Мелькает слабый огонек
На золоте оклада...
А вот себя найти не смог,
Наверно, так и надо.

Я уповал на Господа –
Дурил, грешил и маялся.
А с неба капала вода,
И я крестился, каялся.
Гудел с похмелья черепок,
А на душе – досада...
И вновь себя найти не мог –
Быть может, так и надо.

Все пронеслось на вираже,
Воспоминанья вязкие.
Забыты многие уже,
С кем был в единой связке.
Погас дотлевший костерок,
Повеяла прохлада...
Себя нигде найти не смог –
Ну, значит, так и надо.

Ни посвистом, ни окриком,
Не дозовешься прошлого:
Умчалось детство босиком,
Шепнув: «Всего хорошего!..»
Умчалось в солнечный денек,
Мелькнут штаны с заплатой...
А что себя найти не смог –
Наверно, так и надо...

Подражание Высоцкому

Время душит меня, я боюсь не успеть,
Все стихи дописать, песни нужные спеть.
Надышаться просóленным ветром морским
И сполна насладиться общеньем людским.

Боже, сколько же дней унеслось в пустоту!..
Но и горе имеет свою красоту,
И свинцовые краски осенней грозы,
И соленая капля незваной слезы...

Время душит меня – я боюсь не успеть,
От нелепой болезни внезапно сгореть,
День без песни, вам спетой, –
потерянный день...
Сны мои до рассвета –
одна дребедень.

Струны рву в исступленье, терзаю перо,
И хореем шальным обнажаю нутро,
Ямбом вывернув душу, пытаюсь взлететь...
Я не трушу –
я просто боюсь не успеть!..

Повторяю: я просто боюсь не успеть –
Все грехи замолить, хоть кого-то согреть.
Не позволить ни чувство, ни веру топтать
И, дойдя до конца, нажито́е раздать!..

Я мгновением каждым теперь дорожу,
Мчатся бешено кони мои к рубежу:
За верстою – верста... Ох, боюсь не успеть
Замолить, долюбить,
дописать и допеть...

Дорожный романс

Как гитары гриф полотно лежит –
Две струны да лады бесконечные.
Перестук колёс, словно стук копыт,
И гудят эшелоны встречные.

Эх, досталась нам, что греха таить,
Жизнь нелегкая, но интересная.
Кто пешком идет, кому морем плыть,
Ну, а наша дорога – железная!..

В суматохе день, да и ночь без сна,
Телеграфных столбов мелькание.
Из купе смотрю на квадрат окна,
Полустанков читая названия.

Над тайгой рассвет и в степи закат –
Всё покажут мне окна вагонные.
Убегают вдаль и за мной спешат
Километры мои перегонные.

Кому крест святой, кому – идола,
Каждый взял свою пайку небесную.
Ну, а мне судьба долю выдала –
Стук колес да дорогу железную.

Тишину порвет тепловоза крик,
«Неваляшкой» вагон качается ...
И далёк еще тот глухой тупик,
Тот, где рельсы мои кончаются...

Осенний монолог

Еще не вьюга – первая пороша
Агат висков укрыла белизной...
За то, что не для всех бывал хорошим,
Заплачено немалою ценой.

Купюрами моих ночей бессонных,
Валютой слёз, купонами обид,
И рифмами души, тоскою полными,
Я оплатил с процентами кредит.

За все мои терзанья и сомненья,
За то, что места в жизни не нашел,
У всех, кто был со мной, –
прошу прощенья
(У Вас – за то, что к Вам не подошел...)

Всё позади – перроны и вокзалы,
И чувство беспросветной пустоты.
Хотелось мне не много и не мало:
Глотка любви, кусочка доброты,

Песчинки счастья, радости мгновенья,
Тепла души, улыбки милой свет,
На дне бокала капли вдохновенья –
Без этого и смысла в жизни нет.

Летело время в суете исканий,
Нашел, казалось –
но потеря вновь...
Пылятся в стеллажах воспоминаний
Мои Надежда, Вера и Любовь.

И дни мои,
как близнецы, похожие,
Проходят монотонной чередой...
И укрывает первая пороша
Агат висков холодной белизной.

ТАИР АЛИ

МИРЗА ХАЛИЛ И КОТ В МЕШКЕ

повесть

Лев чихнул, и появилась кошка.
Персидская пословица

Torbada pişik varmış.
Азербайджанская пословица

1

Во вторую неделю ноября на выходе из Торгового Центра Мирза Халил повстречал знакомого людоеда.

День был сырой и пасмурный, и пока Мирза Халил переходил из одного магазина в другой в поисках подходящего подарка ко дню рождения внука, на парковке за стеклянным фасадом мола становилось все темнее, и на полированных поверхностях автомобилей все чаще вспыхивали неоновые зигзаги бесшумных молний. В конце концов зарядил дождь. Определившись с подарком где-то к половине четвертого (впоследствии, восстанавливая в памяти события этого дня, он был в этом почти уверен), Мирза Халил не удержался и примерил в обувном магазине теплые «мадэ ин чайна» полуботинки, стоявшие на распродаже с почти тридцатипроцентной скидкой, после чего уже спустился по эскалатору на первый этаж. Но вместо того, чтобы сразу направиться к карусельно крутящимся дверям, задержался перед входом в турецкое кафе. Оттуда вкусно пахло. Бородатый зазывала за витриной жестами приглашал его зайти внутрь, однако Мирза Халил уже успел подвести в уме нехитрое сальдо и решил, что и так довольно потратился для одного дня. Дома в холодильнике оставались еще четыре бараньих антрекота, которые нужно было лишь чуть подрумянить на сливочном масле. Сглотнув слюну, Мирза Халил застегнул пуховик, подхватил пакеты с покупками и, огибая очередь в «Second Cup», выстроившуюся между двух высоких пальм, быстро пошел к выходу, прикидывая, сколько будет стоить доехать до дома на такси. Конечно, если бы не дождь, он бы пошел пешком. Идти-то было всего минут десять: от проспекта Тебриза свернуть вниз, затем прямиком, через парк, до бывшей улицы Левандовского. Там, за детской зубной поликлиникой, на четвертом этаже капитального сталинского дома и находилась его квартира.

Ходить он привык быстро. Почти полубегом. Но двигаться с покупками было неудобно. Особенно мешала коробка с пожарной машиной, которая высовывалась больше, чем наполовину, из огромного полиэтиленового пакета. Маневрируя во встречном потоке вбегающих в Торговый Центр забрызганных дождем покупателей, Мирза Халил попытался засунуть коробку подмышку и не заметил, как столкнулся лицом к лицу с благообразным мужчиной в твидовой кепке. Позже, вспоминая это, Мирза Халил утверждал, что почему-то обратил внимание на твидовую кепку в толпе еще издалека.

– Ага, – сказал мужчина вкрадчиво и чуть иронично, мягко хлопнув оторопевшего Мирзу Халила по плечу. – Вот я тебя и поймал! Как дела, Мирза? Смотри, смотри хорошенько, неужели не узнаешь?

Именно это обстоятельство и удивило Мирзу Халила больше всего, потому что он узнал его тотчас, безошибочно, не задумываясь. Этот человек просто выпрыгнул, как черт из табакерки, откуда-то из сумрачных глубин его памяти – весь, целиком, со всеми деталями и подробностями. Словно бы и не прошло более трех десятков лет между их последней и нынешней встречей. И вот, пожалуйста, «здравствуй ж…а, Новый год»! И не то, чтобы он не изменился за эти годы: изменился, да еще как! Но эти по-кошачьи чуть жеманные манеры, нос, неуместный для местных широт – большой пуговицей, и, конечно же, голос – не оставляли ни капли сомнения: перед ним стоял, словно воскресший из мертвых, бывший сосед по двору и одноклассник доктор Игбал.

– Подожди, подожди... – засуетился Мирза Халил. – Ты что тут делаешь?

Вопрос был, конечно, дурацкий, но ничего другого в голову ему не пришло. И о чем вообще можно спрашивать у человека, которого не видел без малого тридцать пять лет? Не про здоровье же? Между тем, энергично пожимая Мирзе Халилу руку, Игбал вдруг притянул его к себе и тепло обнял:

– Даже не представляешь, как я рад тебя видеть! – Мирзе Халилу стало неловко. – Кто бы мог подумать, нос к носу столкнулись...

Так они и стояли некоторое время, обнявшись и одинаково мешая как входящим, так и выходящим людям.

– Послушай, – встрепенулся, наконец, доктор Игбал. – Тут есть кафе турецкое, очень неплохое. Давай там сядем, выпьем чаю, поговорим нормально.

– Честно говоря...

– Ты, небось, на пенсии уже?

– А ты как думал?

– А я все кручусь, наверстываю, как говорится, упущенное время. Тут на втором этаже у меня магазин, между прочим. «Ле Шато», шмотки из Европы гоняем. С партнером. Так что я теперь, Мирза, бизнесмен!.. Давай, давай, пошли! Неужели полчаса не уделишь старому другу!

Они направились в кафе.

– Часто здесь бываешь?

– Да нет, это я внуку подарок пришел искать. А так, чего мне тут ловить, у внука день рожденья завтра...

– Да ты что? Поздравляю! Чтобы вырос большим мальчиком! Это дело надо отметить, и нашу встречу тоже, кстати.

– Обязательно, обязательно, – легко согласился Мирза Халил. – Вот на следующей неделе что-нибудь придумаем. Или ...

– Мирза! – воскликнул Игбал. – Тридцать пять лет назад, на Щорса, когда я тебя в последний раз видел, помнишь? У тебя еще портфель такой был? Как у типичного следователя: кожаный, блестящий, новенький. Я их потом достаточно повидал. Да ты и сам такой был – весь из себя, следователь, короче. Побритый, причесанный...

– Ну да. Портфель отец подарил на окончание...

– Это понятно, а ты что сказал мне, помнишь?

– «На следующей неделе соберемся».

– Вот тебе и ответ, следующего раза может и не быть!..

При виде возвращающегося Мирзы Халила бородатый зазывала победно улыбнулся и провел их к свободному столику.

– Слушай, – сказал Игбал, скидывая с себя модную кожаную куртку. – Ведь уму непостижимо, нам тогда, в последнюю встречу, по тридцатнику было? Так ведь? Опомниться не успели, а уже внуку пять лет...

– У тебя тоже внук? Один?

– У меня? Откуда у меня внук? – развел руками Игбал. – Я даже жениться не успел. Все это случилось... Ну, ты же помнишь. А потом уже куда? Пока в себя приходил, жизнь налаживал. Еще поговорим об этом. А из всей семьи у меня один черный кот, – усмехнулся он. – Сам к дверям пришел, не прогонять же.

Мирзе Халилу стало неловко.

– Ну да, понятно. А моему завтра точно пять исполняется. А я разве сказал, сколько ему будет?

С лица Игбала вдруг сошла дружелюбная улыбка, он медленно подался вперед, буравя Мирзу Халила холодным насмешливым взглядом сумасшедшего, и сказал очень спокойно:

– Если не говорил, Мирза, откуда же я тогда знаю?

…Мирза Халил проснулся раньше будильника. С наждачной сухостью во рту, головной болью и прочими симптомами обильного возлияния накануне. С трудом оторвав голову от подушки, он сел на застеленной постели, взъерошенный, без вставных зубов, дыша крепким перегаром, от которого его чуть подташнивало. По гостиной, где перед телевизором имел привычку спать на диване Мирза Халил, из незанавешенного окна струился холодный свет наступающего осеннего утра. Чуть подвывал ветер. Болезненно щурясь, он сверился с мобильным телефоном: 5:42, ни пропущенных звонков, ни мейлов, ни новых сообщений, не считая, конечно, свежих предложений о льготных тарифах от туроператоров и предновогодних скидках от всевозможных бутиков. Собравшись с духом, Мирза Халил, наконец, поднялся с места: в голове сразу же зашумело, запульсировало, закружилось. Восстанавливая равновесие, он тяжело и желчно рыгнул. Судя по сегодняшнему его состоянию, выпито накануне было гораздо больше привычной нормы. Однако вот что было странным: одежда его оказалась аккуратно сложена стопкой на кресле, в стакане с водой скалилась вставная челюсть, а рядом с журнальным столиком самым вызывающим образом его ждали тапочки, которые обычно по утрам приходилось выволакивать вместе с комками пыли из-под дивана. По правде сказать, думать об этом в его состоянии не было никаких сил, шаркая босыми ногами по паркету, он заторопился в туалет.

Про покупки Мирза Халил вспомнил уже только после душа, когда брился, с осуждением разглядывая собственное лицо в потеющем от пара зеркале. Распаренный, голый, с намыленными щеками, он выскочил из ванной, заметался по квартире. А когда обнаружил вчерашние пакеты в коридоре под вешалкой, вместо того, чтобы обрадоваться, рассердился и в голос выругался. Вещи было в целости и полной сохранности, и вообще все выглядело так, как будто, вернувшись домой после серьезной попойки, он, не найдя себе лучшего занятия, до утра убирался в квартире, во всяком случае, до 5:42, пока не проснулся на застеленном диване от жажды и кишечных колик. Самое отвратительное, что события вчерашнего вечера никак не хотели восстанавливаться в памяти. Мирза Халил более-менее отчетливо помнил турецкое кафе, какие-то отрывки их разговора. Помнил, как они выходили из Торго-

вого Центра и садились в черный внедорожник, бритый наголо водитель которого все время сопел носом и подобострастно поддакивал доктору Игбалу. Помнил Мирза Халил и то, что они оказались в каком-то дорогом ресторане с панорамным видом на море, где-то за Баилово, а дальше... дальше он ничего уже не помнил. Дальше начинался необъяснимый провал.

Мирза Халил зачесал назад редкие и еще влажные волосы, тотчас послушно прилипшие к его мосластой голове, накинул халат и вышел, наконец, из ванной. Заехать за ним должны были только к восьми. Оставалось еще достаточно времени, чтобы позавтракать. Но его все еще продолжало мутить.

– Откуда только на мою голову свалился... – вполголоса ворчал Мирза Халил, продвигаясь к кухне. Следовало бы, конечно, измерить уровень сахара в крови, особенно после вчерашнего незапланированного срыва. Ультрасовременный глюкометр, подаренный ему, между прочим, в прошлом году сыном и невесткой, ждал его в верхнем ящике серванта. Но, не желая себе портить настроение перед долгожданной поездкой за город на день рождения единственного внука, он демонстративно прошел мимо шкафа.

Он ставил на плиту чайник, когда залился трелью мобильный телефон. И, разумеется, это была Сара, кто же еще мог звонить в семь часов утра? Сестра-близнец, родившаяся то ли на три, то ли на пять минут раньше него, но успевшая при этом довольно основательно испортить ему все детство и часть юношества. Говорить с ней не хотелось, но игнорировать ее звонки было контрпродуктивно: это лишь раззадорило бы ее, и уж тогда она стала бы названивать без остановки каждые десять минут.

– Встал уже? Думаю, давай позвоню, разбужу, на тебя надежды нет...

– Все в порядке, встал, душ принял, сейчас буду чай пить... – раздраженно буркнул Мирза Халил. – Все, давай, потом поговорим.

– Ты с ума сошел? Ты же в дорогу выезжаешь? Зачем ты сейчас душ принимал? Я не понимаю, на улице что, лето? Высуши голову феном обязательно!

– Сара!

– Что? Когда сляжешь, кто будет за тобой смотреть? Ты думаешь, эта сучка, твоя невестка со слоновьими икрами примчится за тобой ухаживать? Она прямо спит и видит!

– Сара, не начинай опять! – безнадежно сказал Мирза Халил, вспоминая, что икры у невестки были действительно толстоваты, да и сама она даже в подметки не годилась Джине Лоллобриджиде, которую он еще с юности раз и навсегда определил в эталоны красоты...

– «Сара, не начинай...». У тебя, кроме меня, никого нет, понимаешь ты это или нет? А ты только и знаешь: «Сара, не начинай...» Вот я тебе еще раз говорю, поедешь туда, во-первых, оденься тепло, но красиво, чисто. Вместо своего дешевого пуховика надень пальто. Вещи все аккуратно собери. Ничего нигде не забывай. Главное, подарок, который я тебе положила, не забудь! Ты понял? Не забудь!

– Не забуду, не беспокойся.

– Ни с кем там, Мирза, не ругайся, ни во что не встревай. Ни в какие разговоры политические, еще какие-то – не лезь. Мало ли, кто там будет. Понимаешь? Сейчас – сам знаешь!.. И себя дураком выставишь, и сына подставишь. Какой-никакой – это твой сын. Других детей у тебя нет... Да, конечно, она мерзость, интриганка, кто спорит? И отец такой же, телескоп, миллионер сраный, тоже мне...

– При чем тут телескоп?

– Ну, аквариумные рыбки такие черные, у Эльмара были, с пузатыми глазами. Эльмар их телескопами называл, уж не знаю, как их правильно называть. У меня на курс старше учился один такой: точно как этот твой тесть с рыбьими глазами. Может, даже родственник! На стоматолога учился, а на фалангах пальцев волосы росли толстые, как проволока, я у него однажды спросила, как он собирается такими пальцами людям в рот залезать...

– Сара! – спохватился Мирза Халил. – Подожди, подожди, что тебе расскажу! Ты говоришь, на стоматолога, – ты знаешь, кого я вчера встретил? Точно не угадаешь!

– Ну?

– Соседа нашего!

– Стоматолог... сосед... про кого ты говоришь? Не соображу...

– Я же говорю, не догадаешься, – доктора Игбала! Представляешь?

– Кого? – удивилась Сара. – Людоеда Игбала? Так он сто лет как помер, чего ты болтаешь? Приснился он тебе, что ли?

– Да не умер он! Живой и здоровый, и неплохо выглядит, между прочим! Бизнесмен. У него в Торговом Центре свой магазин одежды, дорогой очень. Из Европы одежда. Сейчас, подожди, сейчас сама увидишь! Посылаю тебе кое-что... Отключаюсь...

Мирза Халил дал отбой и стал перебирать иконки на экране телефона в поисках нужной. Наконец ему удалось найти папку с фотографиями, выбрав самую последнюю, снятую вчера в турецком кафе, он отправил ее сестре.

Она перезвонила почти сразу.

– Ничего не понимаю, мне мать его сказала, что он в психушке умер. От инфаркта, кажется. Где-то лет десять назад я случайно на нее наткнулась в городе. Она сказала, что болеет, гипертония, я пожалела ее, сказала, чтобы зашла ко мне в больницу на обследование, тогда я еще в пятой работала... Как же это получается, что его выпустили? Он же людоед!

– Кончай, Сара, какой он людоед? Ну, откусил он нос этому своему начальнику, разозлился человек, состояние аффекта, мало ли, что бывает...

– Какое состояние аффекта? Что ты несешь, Мирза? Совсем из ума выжил, честное слово! – взвизгнула Сара. – Он же не просто ему нос откусил, он его еще и при этом сожрал! Весь нос! Целиком!... Фу! Гадость какая! Как подумаю об этом...

– Сара...

– Что – Сара? О чем ты говоришь? Он зашел в кабинет, закрыл за собой дверь, напал на этого бедолагу и откусил ему нос. И пока этот несчастный криком кричал и на полу корчился, этот урод сидел в кресле и пережевывал его нос! Просто кино какое-то! Ты забыл? Рассказывали, что когда дверь сломали, он совершенно спокойно сидел в кресле – весь в крови – и курил!.. Подожди, подожди! – вдруг осенило ее. – Ты что это, получается, с ним пьянствовал вчера?

– Кончай, Сара, просто посидели, вспомнил двор наш...

– Какое «посидели», – прошипела сестра, – я же не слепая, сам же фото прислал: бутылки на столе, закуска, молодец! Я что, не вижу? Я только теперь начинаю понимать, что покойная жена твоя, хотя и небольшого ума была женщина, уж извини, конечно, в одном была совершенно права – за тобой глаз да глаз нужен, как...

– Не говори глупости! – возмутился наконец Мирза Халил. Чувствуя себя неловко за глупейшие посиделки с людоедом, да еще и оттого, что большая часть

вечера самым загадочным образом выветрилась у него из памяти, он позволил ей в этот раз ворчать и причитать дольше обычного.

– ... я надеюсь, ты адреса своего не давал? Не показывал, где живешь? Ума хоть на это хватило?

В этом Мирза Халил как раз и не был уверен. Перед глазами как будто бы возник образ доктора Игбала, снимающего с себя кожаную куртку в прихожей, возник и тотчас исчез, и опять – полный провал, как будто бы намеренно стерли запись. «Кавинтон, что ли, попить?» – с тоской подумал Мирза Халил: не меньше, чем онкологии и диабета, он боялся склероза.

– Все! – рявкнул он в трубку. – Иду одеваться! Скоро они уже подъедут. Вернусь – поговорим. И не звони мне туда без конца...

– Подожди! Подожди! И что, этот придурок успел кому-нибудь испоганить жизнь? Женился хоть?

– Да нет у него никого, только кот...

Заехать должны были к восьми. Однако позвонили только без четверти девять. Все это время расстроенный Мирза Халил ходил из комнаты в комнату при полном параде, проклиная опаздывающих академиков, а заодно и невестку с тестем, затеявшими справлять день рожденья внука черт знает где, аж за триста километров от города. Из-за надетых под джинсы подштанников он успел порядком вспотеть.

Уже перед выходом, натягивая на ноги новые китайские полуботинки, он подумал, что, пожалуй, все-таки не прогадал, выложив за них семьдесят два маната.

2

Академиков оказалось двое. Первый, сидевший рядом с водителем, был одет не по-походному, в добротный твидовый пиджак с жилетом, да еще с концертной бабочкой впридачу. Второй – тот, что за рулем, из-за пружинистых, густо лезущих из-под кепки седых кудряшек был похож на пуделя.

– Али-муаллим, академик, – представился он, протянув Мирзе Халилу влажную ладошку, – член Комитета по охране нематериального наследия. Я и Вели-муаллим защищаем нашу кулинарию.

Под накрапывающим дождем они медленно выехали со двора на бывшую улицу Левандовского, свернули налево и покатили вниз к проспекту мимо сгрудившихся вдоль дороги унылых башен-новостроек. Движение было плотным, и, разумеется, они попали в час пик. Тот, что был одет в твид и все время молчал, достал из кармана пачку сигарет. В салоне было сильно натоплено. Пахло карамелью, прелой одеждой и сероводородом. Пытаясь пристроить под сиденье крошечной азиатской машины свои ноги в полуботинках сорок третьего размера (на размер больше, чтобы надевать с теплыми носками), Мирза Халил вспотел.

– Вы, я извиняюсь, тоже в первый раз, или уже видели гробницу? – спросил похожий на пуделя, пытаясь поймать взгляд Мирзы Халила в зеркале.

Озадаченный Мирза Халил прекратил возиться:

– Гробницу?..

– Ну, захоронение!

– А, нет! Не видел.

– Так интересно! Знаете, с того момента, как ее нашли, наши только об этом и говорят. Это, наверное...

Академик в твиде, встревоженно пыхнув теплым паром, указал сигаретой на загоревшийся зеленый. Машины уже рванули с места, с энтузиазмом преследуя прохожих, не успевших перебежать пешеходную зебру.

– Вижу, вижу!

Из-за запоздалого старта им начали сигналить.

– Ну что за люди, а? Как бешеные! Вот мы два месяца назад с Вели-муаллимом в Париж летали, на заседание ЮНЕСКО – совсем другое дело, скажу вам. Во-первых... Ну включи подворотник, да, ишак! Ты смотри, что делает!.. – академик рванул руль вправо, сходу вписался в поворот, едва не мазнув при этом крыло соседней машины.

– А вы, я так понял, родственник Шербета Мамедовича?

– Есть такая вещь, – неохотно, через паузу, согласился Мирза Халил.

– Я говорю, считай, человек уже в историю попал. Разве не так? Как Шлиман, например! – обернувшись к Мирзе Халилу, он пояснил: – Шлиман, который Трою раскопал.

Мирза Халил не ответил.

– Масштаб здесь может быть чуть поменьше, но находка-то все равно – великая! И потом, это же только начало. Там только копай и копай!

Молчун в твиде вытряхнул из пузырька на ладонь две голубые таблетки, забросил их в рот и, сосредоточенно двигая кадыком, проглотил.

– Вы не обращайте внимания, что он все время молчит. Вели-муаллиму вчера три зуба удалили, – кивнул в его сторону кудрявый в кепке. – Десну резали. Сколько тебе швов наложили?

Молчун показал на пальцах.

– Восемь! Не шутка. Э, нет ничего хуже зубной и почечной боли... Слушай, ну покажи монографию!

Молчаливый достал из стоявшей перед ним на полу сумки тоненькую брошюрку в веселом васильковом переплете.

– Посмотрите! – сказал кудрявый. – Это Вели-муаллима работа. Только-только вышла. Еще, как говорится, теплая.

Мирза Халил нацепил на кончик носа очки.

– Так, «Гигиена древних тюрков», – прочитал он на обложке. – Монография.

– Ты подпиши, там в бардачке ручка должна быть!

Молчаливый принял обратно брошюрку и, подписав, вернул Мирзе Халилу.

– «На память, от автора». Спасибо.

– Вы почитайте обязательно, очень интересно! Там мое предисловие...

Мирза Халил не любил и не читал «научпопа». По правде говоря, за последние тридцать с лишним лет он вообще ничего не читал, кроме детективов, полагая, что среди всех прочих литературных жанров только детективы способны помочь современному человечеству избавиться, по выражению Вольтера, от трех зол: моральной амбивалентности, скуки и дурных намерений.

– Вы же, вроде бы, по кулинарии, как я понял? – сказал он, пряча монографию в карман пальто.

– Да нет, это я кулинарией занимаюсь. Защищаю нашу еду. Соседям, прости господи, только возможность дай – завтра и без долмы, и без плова останемся! Чтоб я умер на этом месте! Хорошо, хоть долму отбили! А чего нам это стоило! Вспоминать не хочется! Зато сейчас с полным правом можем ею наслаждаться. Короче, работаем!

А Вели-муаллим занимается вопросами, так сказать, нематериального наследия в области гигиены. Тема совсем новая. Много чего... Жалко, он сейчас говорить не может – столько бы интересного вам рассказал. Ну, вы почитайте монографию, сами увидите... Тьфу, и здесь, кажется, пробка!

Пока выбирались из города, редкий дождь сменился мокрым снегом. Он летел косо, крупными хлопьями, но таял, еще не коснувшись мокрых улиц. Уже за Баладжарами Мирзу Халила сморил сон, он уронил голову на грудь и перестал отвечать на вопросы академика, но тот, нисколько не смущаясь этим обстоятельством, все продолжал рассказывать о перипетиях эпической борьбы за нематериальное наследие нации. И его чуть экзальтированный голос прорывался сквозь навалившуюся дрему, мешаясь со снами Мирзы Халила.

Ехать до гор было еще часа два с половиной.

...Снилось ему, что выходит он босыми ногами на горячую от солнца керамическую плитку, которой был выложен пол на балконе старой квартиры, в центре, на Молоканке, где жил он с родителями и сестрой Сарой, а потом с покойной женой своей. Полдень. Лето. Из зашторенного полумрака квартиры он вступил в звенящий августовский зной, отчего по спине его побежали мурашки. Лениво и сонно привaливается Мирза Халил к балконным перилам, смотрит вниз, где у кучи просеянного песка неподвижно стоит желтый экскаватор «Като».

«Мурадов, – говорит Мирза Халил во сне, не оборачиваясь, – мне тут рассказали интересную байку про песок. Ты любишь такие вещи».

«Про песок?» – лениво спрашивает его доктор Мурадов, бывший его зять, некогда коротко женатый на Саре. Несмотря на сложную семейную историю, Мирза Халил почти дружит с Мурадовым даже после их развода.

«Мне Игбал рассказал. Ты его не знаешь – раньше соседями были». – Во сне Мирза Халил с удовлетворением отметил полнейшую логичность своего ответа: Мурадов и Игбал действительно не были знакомы.

«Ну и?»

«Значит, представь себе целую кучу песка...» – Он еще раз посмотрел вниз, где неподвижно стоял «Като», после чего откинул штору и встал в дверном проеме, привыкая к сумраку гостиной комнаты.

«Ну, представил». – Мурадова не было видно.

«А теперь представь, что забираешь из этой кучи по одной песчинке: одна, вторая, третья, и так далее. Теперь вопрос: когда весь этот песок, наконец, перестанет называться «кучей»? Понимаешь?»

«Так это же не байка, Мирза, – это называется парадокс Сорита». – Голос Мурадова доносился откуда-то из глубины квартиры.

«Сорита? А мне сказали, фольклор... Ладно, без разницы, ты лучше скажи, если такой умный – как это решается? Игбал сказал чего-то, но из головы вылетело».

«Не знаю, какой вариант он предложил, тут может быть по-разному. Есть сложные варианты. Самый простой: договориться о том, сколько точно песчинок будет считаться «кучей». Понимаешь? Например, договариваемся, что ровно тысяча песчинок – есть «куча». Значит меньше уже не «куча», понятно?»

«Ну и к чему все это, Мурадов?»

«Это о неопределенности. О том, что даже слова, которыми мы пользуемся – обычные слова, типа той же «кучи», имеют лишь приблизительный смысл. «Куча» песка – сколько это именно? Как измерить? В этом смысле, Мирза, когда говорим про

кого-то, что он человек хороший или, наоборот, сволочь, оказываемся в такой же ситуации. Что значит «сволочь»? Короче, сначала надо договариваться о терминах. А это дело непростое. Во всяком случае, за все это время нам так и не удалось этого сделать».

«И что, Мурадов, получается полная задница?»

«Еще какая!» – сказал он таинственно, выступив буквально на мгновенье из душной темноты.

На этом Мирза Халил проснулся. Теперь вдобавок к затылку ныла еще и затекшая шея. Болезненно щурясь, он глянул в окно: они медленно поднимались вверх по перевалу. Внизу, за кромкой дороги, сквозь зыбкий туман виднелись шиферные крыши, прореженные косыми столбами электропередач и мокрыми тополями, напоминающими оплывающие свечи. Похожий на пуделя подмигнул Мирзе Халилу в зеркале:

– Все дорогу почти проспали.

Молчаливый обернулся и, едва открывая рот, прошамкал:

– Сок хотите? Черешневый? (У него вышло «чевешнивый»).

Мирза Халил распрямился и сел. Шея действительно сильно затекла. Молчаливый протянул ему бутылку и пластиковый стакан.

Пока он запивал таблетки «Гликлазид» (2шт), «Сенна-Д» (2шт), «Кавентон» (1шт), «Фурасемид» (1шт), и так далее, они прошли перевал и встали на развилке. Академик, не замолкая ни на секунду, сверял маршрут с телефонным навигатором. Потирая затылок, Мирза Халил с сомнением разглядывал убранное к зиме поле по правую руку, укутанные мокрым брезентом стога и проступающую из тумана окраину деревни, безлюдную и темную, если не считать почти неподвижных струек дыма над покатыми крышами.

Наконец они снова поехали: сразу у знака «д. Сюрмяли – 2км» свернули на новенькое шоссе, резво убегающее рекламным серпантином куда-то на северо-запад вдоль кромки неподвижного леса. Мирза Халил чихнул и тотчас почувствовал, как закололо у него в промежности: тягучая боль стала расходиться по всему низу живота. Он попытался как-нибудь сменить позу, но двигаться на заднем сидении было особенно некуда, а тем временем позывы к мочеиспусканию стали лишь еще более болезненными и настойчивыми. Согласно кудрявому академику, до гостиницы Шербета Мамедовича ехать было еще никак не меньше тридцати километров. Нужно было останавливаться.

Выбравшись из машины, Мирза Халил вдохнул морозного воздуха. Было непривычно тихо. Не разминаясь, он заковылял на отсиженной ноге к обочине, к оцепеневшим голым кустам, начинающимся сразу за неглубоким кюветом. Осторожно спустившись вниз, он выбрал куст и, то и дело оглядываясь по сторонам, стал с нетерпением возиться с ширинкой. Дело это было непростое. Помимо джинсов, нужно было еще разобраться с теплыми подштанниками. Наконец ему все удалось: он зажмурился от удовольствия и, нарушая почти девственную тишину осеннего леса, ударил шипящей струей в подножье перепутанного шиповника. Он еще не закончил, когда вдруг заметил метрах в трех или четырех от того места, где стоял, что-то похожее на докторский саквояж, при этом явно присыпанный от посторонних глаз листвой и мелкими сучьями. Примерившись, Мирза Халил сообразил, что с дороги саквояжа не должно было быть видно. Для того, чтобы его обнаружить, следовало, как минимум, спуститься в кювет.

– Ага! – сказал он вслух, застегивая ширинку, а затем стал в нерешительности топтаться на месте, издали разглядывая странную находку. От холода свербило в носу, и, несмотря на теплые подштанники, его уже начала пробивать мелкая дрожь. Наконец, махнув рукой, он стал с трудом выбираться из кювета, подъем из которого был вполне пологий, однако мокрая жирная земля скользила и комьями липла к его новеньким полуботинкам. Наверху ему пришлось долго шаркать подошвами по асфальту, счищая грязь.

– Холодно? – спросил его академик за рулем, когда он открыл заднюю дверь. – Ну что, поехали?

Мирза Халил собирался было уже сесть в машину, но вдруг остановился:

– Слушай... – сказал он. – Я сейчас!

Он ринулся обратно в кювет.

– Что-нибудь случилось?.. – крикнул ему вдогонку удивленный академик.

Саквояж был добротный, тёмно-коричневой кожи, застегнутый на два ремешка. По виду – вполне новый и явно дорогой. Мирза Халил подошел ближе, осторожно ткнул в него ногой: внутри что-то зашевелилось, задергалось, раздался визгливый детский плач. От неожиданности он отпрянул назад, не удержал равновесия и больно сел со всего маху на склон кювета. В саквояже продолжали надрывно плакать. Вскочив, Мирза Халил стал раскидывать сучья, присел на одно колено и принялся отстегивать негнущимися пальцами ремешки. Когда, наконец, ему удалось это сделать, из темной пасти саквояжа, сверкая бешеными глазами, выпрыгнул черный кот. Матюгаясь, Мирза Халил упал на свой зад во второй раз. Кот же метнулся куда-то к кустам и быстро пропал из виду.

– Эй?..

Мирза Халил поднял голову. Над кюветом стоял молчаливый академик с дымящейся сигаретой:

– Что случилось? – прошамкал он с интересом.

– Да, б...дь, кот в мешке!

3

– Где ж ты так измазался?.. Просто кошмарный вид! – плохо маскируя свое возмущение, сын суетливо обмахивал щеткой низ его брюк.– Ты обязательно должен был...

– Я же тебе объясняю, это все из-за кота...

В громадном зеркале во всю стену фойе крупное лицо Мирзы Халила выглядело уставшим и чуть желтоватым. Он с опаской потрогал указательным пальцем мешки под глазами: «Видимо, все-таки печень».

– Ну как же так? Просто хочу понять...

Из внутренней комнаты ресепшена вышел молодой человек вполне брутальной наружности, в темно-синем костюме, казалось, готовом вот-вот разойтись по швам на его борцовских плечах. На лацкан пиджака была приколота бронзовая табличка, на которой залихватской прописью было выведено: «Менеджер». Бритая наголо голова менеджера напоминала старую боксерскую перчатку. При появлении управляющего сын Мирзы Халила замолчал.

– Вот, это ваш, а это ваш. Значит, номера десять и одиннадцать. Это на втором этаже, – пояснил менеджер, передавая академикам электронные ключи от комнат. –

Это прямо по коридору, лифт еще не пустили. Кстати, телефона и кабеля пока тоже нет. Из-за интернета. Должны были на прошлой неделе подключить. Но пока все остановили. Сами понимаете...

– А насчет...

– Все остальное работает, как надо. Как часы! – Словно парируя удар, мотнул боксерской головой управляющий. – Душ, отопление, теплые полы, камин – в каждом номере индивидуальный климат-контроль. Я сам все проверял. Сименс. Сейчас все покажу.

– А в каком номере я буду жить? – спросил сына Мирза Халил.

– Не беспокойся, папа, на улице тебя не оставим. Ты рядом с нами.

– Вы отдыхайте, умывайтесь с дороги, – бурчал управляющий, провожая академиков к выходу на лестницу. – А через часик – накроем для вас стол, чтобы пообедать. Шербет Мамедович распорядился, чтобы...

– А после обеда можно будет посмотреть гробницу?

– Все организуем...

– Ну, хорошо, упал, – я понимаю, а волосы? Ты едешь на день рожденья единственного внука, тут все собрались, неужели нельзя было подстричься? – отложив щетку в сторону, он распрямился и встал рядом с отцом: худосочный, с мелкими, нервными чертами лица, он разительно отличался от лобастого и ширококостного Мирзы Халила. – Ты понимаешь, папа, – с ноткой истерики в голосе сказал он, – мы здесь и так все на нервах.

Мирза Халил кашлянул в кулак и мелко прищурился, что было явным признаком охватившего его желчного раздражения. Однако он дал себе слово не поддаваться на провокации и не омрачать встречу с сыном и внуком, которых не видел больше года.

– А чего это вы тут на нервах?

Сын вытянул тонкую шею и глянул в коридор, в который управляющий увел академиков.

– Вчера две бригады рабочих отравились. И те, кто из города, и местные, – сказал он полушепотом. – Никто на работу сегодня не вышел. Все стоит. Стройка стоит. И здесь тоже – после четвертого этажа отделка еще не везде закончилась.

– А чем отравились?

– Непонятно. Видимо, с водой было что-то, непонятно! Значит, в десять утра у рабочих перерыв, типа перекура. Ставят самовары, в каптерках пьют чай. Отсюда не видно, но там дальше вагончики с задней стороны. Рабочие в них и живут. Ну и вот, сразу после этого перекура и началось. Понос, рвота, головокружение. Ужас! Вызвали врачей. А их, рабочих, – не шутка, – 25 человек, плюс два бригадира, и шофера, и крановщики. По-моему, больше тридцати человек. Представляешь? У всех понос одновременно!

– Да уж. Представляю. А кроме тех, кто перекуривал, никто больше не заболел?

– В том-то и дело, что нет. А, с другой стороны, воду они берут в гостинице. А тут сумасшедшая система очистки и фильтрации: тройная очистка. Шербет из Германии спеца привозил для установки. Столько денег на это потратили. Из-под крана воду пить можно. Мы, конечно, не пьем, Шейлочка считает, что все равно лучше не рисковать...

При имени невестки Мирзу Халила невольно передернуло.

– Ну, раз она так считает... А чего еще строят-то? Вроде же, все построили уже.

– Не совсем. Недоделки всякие, Шербет говорил, что-то вокруг подъемника не закончили, ну, отделка, само собой, и, главное, – смотровую площадку. Сам увидишь потом, папа... Все, давай, пошли уже.

– Получается, рабочие не местные, раз в вагончиках спят?

– Потом, потом, папа! Пошли!

В сложенном из речных голышей камине, – основательно, по-крестьянски, – трещали поленья. Огонь уютно мерцал, отражаясь в темном паркете, выглядывающем из-под ковров, во всевозможном хрустале, в панорамных окнах, из которых открывался прелестный вид на всю опоясанную горами долину, и, разумеется, в белой полировке концертного рояля в углу комнаты. Как известно, Шербет Мамедович любил джаз и коллекционировал бюстики Сталина.

– Ну, – повторил Мирза Халил, – иди к дедушке, смотри, что я тебе принес!

Он с энтузиазмом похлопал ладонью по коробке с пожарной машиной. Сидевший в широком кресле с планшетом в руках головастый мальчик продолжал игнорировать его, водя пальцем по экрану.

– Рашадик, подойди к дедушке. Дедушка тебе подарок привез, – сказал сын Мирзы Халила и просительно посмотрел на супругу – миниатюрную блондинку в розовой водолазке.

– Рашадик, детка, – поглаживая выпирающий живот, она обратилась к ребенку чуть с придыханием, – оставь «айпад».

Мальчик, не поднимая глаз, нехотя отложил планшет в сторону. «Судя по животу, вот-вот родит уже», – подумал Мирза Халил, следя за тем, как, спрыгнув с кресла, внук плетется к нему навстречу.

– Ну ты что? Дедушку совсем не помнишь?

Мальчик не ответил.

Мирза Халил неловко обнял его и поцеловал в щеку.

– Мы же в прошлом году на бульвар ходили вместе. Помнишь? Смотри, какой большой уже! И сколько тебе лет исполняется?

– Файв, – сказал мальчик, утирая щеку после поцелуя.

– «Файв»?

– Папа, он там в английский садик ходит, путает слова. Рашадик, сынок, «пять», не «файв».

Мирза Халил положил на стол коробку с машиной и маленький пакет с джемпером – подарок Сары.

В этот момент дверь широко открылась и в комнату, прижимая к уху мобильный, быстрым шагом вошел Шербет Мамедович. Заметив Мирзу Халила, он махнул ему рукой и сел у окна. Следом за ним в дверях появилась миниатюрная блондинка №2 – очень похожая на первую, но как будто бы чуть постарше.

– Ой! Мирза! Слава богу! Выбрались, наконец, к нам! – всплеснула она руками и без церемоний обняла его. От нее волнительно пахло косметикой и мятной жвачкой. Она скинула с себя в свободное кресло норковый полушубок и спросила, наклонившись к мальчику:

– Рашадик, ты узнал дедушку? – после чего снова, жеманясь, обратилась к Мирзе Халилу:

– Представляете, я уже бабушка! Никак, э, не могу привыкнуть!

Под норковой шубой у нее, как и у дочери, оказалась обтягивающая водолазка, но только белого цвета. Мирзе Халилу невольно показалось, что в последнюю их

встречу грудь ее была значительно меньше и уж точно не стояла торчком, как теперь. Несколько смущенный своей неуместной наблюдательностью, он кашлянул в кулак и подвинул подарки ближе к мальчику.

– Рашадик, скажи спасибо.

– Слушай, сколько тебя можно приглашать? Хорошо, хоть сейчас приехал! Давай поздороваемся нормально...

Шербет Мамедович был среднего роста, плотный, с пушистыми усами, и ездил на «Гелендвагене». К тому же он был на двенадцать лет моложе Мирзы Халила, и с недавних пор перешел с обычных сигарет на вейп. Вот и сейчас, энергично пожимая руку свату, он весело дымил зажатым в зубах вейпом.

– Слушай, – сказал он сквозь ароматный дым, – давай, пока накрывают, я тебе все покажу? Как думаешь?

– Шербет, только недолго, Паша сказал, все готово уже.

– Ребенка одевайте, с нами пойдет! – Шербет Мамедович достал мобильный.

– Зачем Рашадика, папа? Я боюсь, когда вы на подъемнике едете! – капризно сказала первая блондинка.

– Одевайте! Рашадик большой мальчик, с дедушками поедет! Правильно, Рашадик?.. Паша! – рявкнул он в мобильный. – Спускай академиков, пойдем объект смотреть.

Идти до подъемника было недолго, с километр. Они обогнули правое крыло гостиницы под стеклянным куполом, где, как объяснил Шербет Мамедович, находится почти уже законченный аквапарк с восточными банями и тренажерным залом, и перед ними сразу же открылся очаровательный вид на альпийские холмы, оторочённые у подножья плотным лесом. Вид был действительно замечательный. И даже «Т»-образные опоры канатной дороги и серые аккуратные вагончики рабочих в два ряда не могли испортить общего впечатления. Снега не было. Но трава и кусты уже были подернуты голубоватым инеем, а вершины холмов затопило холодным туманом. Мирза Халил теперь не жалел о надетых под джинсы подштанниках. Слушая Шербета Мамедовича, он, как и тогда, в кювете, с удивлением отмечал про себя какую-то удивительную непроницаемость окрестной тишины, которую невозможно было потревожить ни разговорами, ни шагами. И даже когда похожий на боксерскую перчатку менеджер, опустив рубильник на панели управления, включил подъемник, и канареечного цвета трехместные кресла, подвешенные к канатам, вздрогнув, потянулись вверх и вниз по холму, ровный гул электромотора, казалось, лишь беспомощно отскакивал от ее плотной поверхности.

– Красиво тут, – Мирза Халил отступил к обочине, на прихваченную холодом траву, и сделал селфи на фоне холмов и осеннего леса.

– Сват! Чувствуешь, какой воздух? Мертвого оживит!

– Ага.

– Рашадик, беги к дедушке! – сказал сын Мирзы Халила.

– Давайте лучше все сразу, вместе! – перекрывая гул мотора, крикнул Шербет Мамедович и, подхватив внука на руки, встал рядом с Мирзой Халилом. – Паша, снимай!

Они медленно плыли в нескольких метрах над землей вверх, следуя переходам и перепадам главного холма. Канаты скользили легко, чуть поскрипывая от напряжения, вздрагивали, пролетая опорные стойки. Чтобы не раскачивать кресло, Мирза

Халил старался не болтать ногами. С каждым пройденным метром вид становился все более завораживающим. Вот они уже почти поравнялись с новенькой красной крышей гостиницы, потом поднялись выше, и постепенно вся живописная долина, раскинувшаяся перед отрогами гор, стала раскрываться перед ними. И хотя от морозного воздуха заныли десны, Мирза Халил, пожалуй, даже не смог бы вспомнить, когда и где в последний раз чувствовал такой прилив радости.

– Сразу понятно, почему они выбрали это место! – громко сказал академик, придерживая кепку на развевающихся кудрях.

– Ага,– согласился Мирза Халил, – зимой – лыжи, летом – пикники.

– Я не про гостиницу, а про захоронение.

– И что?

– Высшая точка! – объяснил он. – Доминирует над всей равниной. Как крепость. Сами смотрите. Не сомневаюсь, что это могила или Сюбаши, или даже Ябгу!

– Чего?

– Сюбаши – это типа генерала у огузов. Главнокомандующий, короче... Прямо дух захватывает! Вот увидите, скоро вся заграница об этом будет говорить. Сюрмялинское захоронение!..

Мирза Халил вытащил из кармана телефон и навел камеру на красно-желтые верхушки деревьев, над которыми они пролетали. Кадр получился удачный.

Ничего удивительного, что на экране было сообщение о четырех пропущенных звонках от Сары, пять надрывных сообщений от нее же и одно с предложением скидки от «Азерселя». Индикатор зарядки показывал 71%. Мирза Халил снова выбрал значок камеры на экране и, придав замерзшему лицу нейтральное выражение, вытянул руку с телефоном для памятного кадра, как вдруг, проходя очередной пролет, сидение под ним как будто бы вдруг споткнулось, а затем, увлекая его и академика за собой, широко качнулось вперед.

– Твою мать! – выругался он в сердцах вслед выскользнувшему из пальцев телефону, который светящимся космическим челноком пролетел между мокрыми кронами лиственниц и исчез без следа где-то у их темного подножья.

– Жалко, – посочувствовал академик, качая головой в натянутой почти до самых бровей кепке. – Самсунг?

Мирза Халил в бешенстве плюнул вниз.

4

Наконец через несколько минут они добрались до подернутой белым туманом вершины. Паша молча помог им соскочить с карусели.

Асфальтированная дорожка вывела их на уровень выше, к недостроенному зданию сплошь в строительных лесах и частично укутанному брезентом.

– Вот это, значит, будет кафе. Типа шале, – объяснял Шербет Мамедович, пыхая теплым дымом из вейпа. – Я в Швейцарии видел. Можно будет посидеть перед камином, попить чай, и вид прямо на всю долину.

Академики одобрительно закивали. Из молочного тумана навстречу им выступил неподвижный кран «Като», затем два красных погрузчика и бетономешалка. Они прошли между сложенными штабелями кирпичей и железных контейнеров. Дальше земля была сильно разворочена, стояли большие мутные лужи, уже чуть прихваченные по краям морозом. Через них были перекинуты доски. На самом краю стройки,

там, где опять стоял стеной смешанный лес, увидели они запертый на замок вагончик, над которым ярко горел софит, прикрученный к столбу. Рядом кучей валялись рабочие комбинезоны.

– Видишь, Мирза, что творится? – Шербет Мамедович махнул вейпом в сторону комбинезонов. – Их сразу после чая и понесло. В штаны начали гадить! Уже второй день стоим из-за этого отравления.

– А это не заразно? Может, эпидемия какая-нибудь?

– Да нет, врачи говорят, не вирус, а химикат какой-то, типа мышьяка. В Баку на всякий случай отправили анализы, вот, ждем результатов... Слушайте, по-моему, снег пойдет.

Он поднял лицо к небу:

– Только этого еще не хватало! Рановато в этом году.

– Холодно («Ховодно»), – прошамкал молчаливый академик, натягивая на голову капюшон пуховика.

– А как сюда краны загнали? Значит, есть объездная дорога?

– Ну да, как по-другому? Почти двадцать километров. Это дорога от Сюрмяли, деревни. Деревня, кстати, большая. За последние года два застроились во все стороны. Ну, а дорога – так, название одно. Если в дождь – только на джипах или на тракторе. «Камаз» застрял летом!.. Рашадик, сынок, не замерз? Скажи папе, пусть застегнет твою куртку до конца!

Они прошли стройку и, следуя дальше по мощеной тропинке, петляющей между елями, минут через пять вышли к вершине: с просторной расчищенной площадки с почти законченной по периметру балюстрадой открывался вид на горные кряжи, призрачно проступающие в перспективе сквозь полосы неподвижного тумана.

– Вот и пришли, – сказал Шербет Мамедович, остановившись перед огороженным переносными оградами провалом в правом ближнем углу смотровой площадки. Над провалом был установлен прожектор. Он был выключен. Из самого провала наружу сочился неоновый холодный свет.

– Значит, прямо тут стоял камень. Большой, удлиненный такой. По форме – как кукуруза или как... не при ребенке будь сказано.

– А где он сейчас? – заволновался кудрявый академик.

– Да, откровенно говоря, когда мои ребята стали его убирать, значит, два дня возились...

– Эй, кто там? – глухо раздался возглас из-под земли.

– Свои! – рявкнул Паша.

– И что с камнем?

– В порядке. Оттащили в сторону. А так, по форме точно как... не при ребенке будь сказано. Рашадик, возьми папу за руку, тут упасть можно! Спускаемся!

Следуя за Пашой, они стали спускаться по импровизированным ступенькам вниз.

– Если он по форме напоминал то, что вы имели в виду, это, значит, как...

– Линга, – подсказал молчаливый академик.

– Индийская линга. А фотографий не делали?

Следуя за Пашой, Шербет Мамедович уже наполовину исчез в провале:

– Не знаю, честно говоря. Нужно у прораба спросить. Паша, где этот Сабир гуляет?

– Не берет трубку, начальник, – глухо пробубнил менеджер из-под земли.

– Кстати, внутри – никаких фотографий! Немец предупредил, что пока не будут получены результаты всех тестов – никакой съемки, любая мелочь может повлиять на микроклимат в пещере. Так что выключайте телефоны...

Лестница вела вниз узким полукругом. Чем ниже они спускались, тем светлее становилась пещера.

– Курган! – никак не мог успокоиться кудрявый академик. – Подвального типа! Как в Большом...

– Царыне...

– «Большой Царын» – это где? Урал? – спросил Мирза Халил.

– Выше Астрахани.

Пещера оказалась довольно просторной: никак не меньше трех метров в ширину на семь или даже восемь метров в длину. Вдоль стен были вбиты подпорки для поддержки сводов, по углам стояли небольшие прожектора. В середине на полу Мирза Халил увидел грубо обтесанную каменную плиту, на которой был выбит потемневший от времени рисунок летящей сквозь кольцо стрелы. Стоя, их приветствовал борцовского вида малый в спортивном костюме. Переминаясь с ноги на ногу, он почти заслонял собой пластиковый стол, на котором, помимо термоса, стыл в тарелке борщ и лежал надкусанный высокий бутерброд, судя по запаху, с котлетами.

– Что это такое? – прошипел Шербет Мамедович, сверкая белками глаз на понурившегося малого. – Ты что, ненормальный? Я же предупредил всех – никакой еды здесь! Вам же, баранам, еще на прошлой неделе объяснили – здесь не жрать! Не курить! Па-ша! Кто это такой?

– Новенький.

– Убери его вместе с борщом отсюда! Немедленно!

– Вали наверх, давай! Жди там.

Мирза Халил выковырнул носком полуботинка втоптанный в землю окурок.

– Ты посмотри, а! Он еще и курил здесь, бессовестный! Клянусь могилой отца, Паша, еще раз увижу такое – ты у меня сам здесь будешь сидеть и день, и ночь! Понял? И вообще, почему он один тут сидит? Они же должны по двое сидеть. Тут достояние нации, понимаешь или нет? Что вы за люди!?

– Больше, не повторится, начальник, – хмуро сказал менеджер, злобно глядя в спину проштрафившемуся малому, который, зажав подмышкой кулек с бутербродом и термосом, враскачку поднимался с тарелкой борща наверх.

– Шербет Мамедович, извиняюсь, – встрял кудрявый академик, – а в этой камере ничего не было? Это называется верхняя погребальная камера. Это типа прихожей...

– Да нет. Вроде, ничего.

– А не могли что-то украсть?

Шербет Мамедович задумался.

– Вряд ли. Считай, при мне все раскопали...

Присев на корточки, Паша обхватил плиту и стал медленно сдвигать ее в сторону. Лицо его покраснело от напряжения, на лбу взбухла пульсирующая вена.

Наконец ему удалось сдвинуть плиту больше, чем наполовину, из приоткрывшегося темного полумесяца остро потянуло холодом, однако, к удивлению Мирзы Халила, гнилостного запаха не было. Наоборот, из темного провала тянуло здоровым запахом земли.

– Еще, начальник? – спросил менеджер.

– Достаточно. Организуй свет, Паша. – Шербет Мамедович повернулся к гостям и, придав лицу торжественность, сказал без тени иронии: – Вот, мои дорогие, на дне этого колодца – живая история, если так можно сказать! Это наши с вами предки лежат там, и сейчас вы их увидите! Кочевники, воины прибыли сюда на своих скакунах из великой степи, и мы всегда должны помнить, чьи мы потомки! Профессор Шпенглер из университета Гумбольдта, ведущий в мире спец по мумиям, будет здесь на следующей неделе, чтобы сделать анализ воздуха и почвы. Он написал мне, что Сюрмялинское захоронение – сенсация мирового масштаба. Что второй такой находки на сегодняшний момент просто нет... Рашадик, иди ко мне, сынок. Сейчас тебе дедушка кое-что покажет!

Дыра в полу была довольно узкая, не больше метра в диаметре. Предварительно выключив, Паша подтащил к краю один из прожекторов, затем стал прилаживать что-то вроде козырька к плафону.

– Нельзя направленным светом, – объяснил Шербет Мамедович.

– Да! Да! Да! – возбудился вдруг кудрявый академик, а молчаливый энергично закивал головой.

– Немец вообще не рекомендовал открывать лишний раз...

Паша включил прожектор. Слоями проникая в холодную темноту, словно в воду на дне колодца, рассеянный свет выхватил очертания двух тел, укрытых до груди медвежьей шкурой. Паша чуть наклонил прожектор вниз, и они невольно ахнули, увидев лицо мужчины. Лицо было бледное, бескровное, с налетом голубизны, будто замерзшее, но совершенно без каких-либо видимых следов разложения, как если бы его опустили в могилу только день или два назад. Черты его не были искажены гримасой. Они были спокойны, суровы, высокие скулы степняка еще более подчеркивали впавшие щеки, поросшие ровным седым волосом. Помимо бороды, седыми были и редкие усы, и кустистые брови воина, но, судя по чертам лица, на момент смерти было ему не более сорока. Лица женщины, к сожалению, не было видно: оно было спрятано под подобием вуали, которая при более внимательном рассмотрении оказалось мелкой и, судя по отсутствию следов ржавчины или окисления, золотой сеткой. Паша наклонил прожектор еще немного: стал лучше виден остроконечный шлем на голове мужчины и подобие тиары на голове женщины, к которой и была прикреплена сетка-вуаль. Они лежали на возвышении, на платформе, вытянув руки по бокам. Руки были такие же бескровные, синюшные, с отросшими ногтями. На пальцы женщины были нанизаны перстни.

– Ай, Аллах, – прошептал молитвенно кудрявый, – настоящее чудо!

– Совсем молодые! – сказал сын Мирзы Халила. – Вроде бы седой, но видно, что нестарый.

– Степняк!

– Как живые! Как живые! Жалко, лица ее не видно! Сюрмялинская принцесса! Да тут на десять диссертаций материала!

– Нобелевка, – криворото согласился молчаливый

– Гарантировано! Кажется, вот сейчас глаза откроют!

– Правильно говоришь, Али-муаллим, действительно, Сюрмялинская принцесса! В который раз смотрю, не могу налюбоваться! Действительно чудо...

«Интересно, как она выглядит на самом деле, может, сгнила совсем?» – подумал Мирза Халил.

– Эта несчастная деревня Сюрмяли уже вошла в историю!

– Они зомби? – прошептал мальчик.

– Ну, совсем ребенку мозги заморочили этими фильмами! Сынок, какие же это зомби – это наши предки, пра-пра-прабушка и пра-пра-прадедушка...

– А что там еще? Вижу лук с колчаном…

– Ага, вон, дальше – лошадиная сбруя.

– Вижу, вижу!

– Вон еще кувшин.

– В огузских захоронениях еще часто находят лошадиные скелеты.

– Не знаю. Вот прилетит Шпенглер с помощником, будете вместе с ним работать.

Когда они поднялись наверх, снег, похожий на мелкие шарики пенопласта, уже белил будущую смотровую площадку и верхушки кривых елей. Малый из подземелья ждал их, сидя на корточках. При их появлении из провала он спортивно вскочил на ноги и, затоптав сигарету, встал виновато, шмыгая носом и держа руки на причинном месте, как футболист во время штрафного.

Академики захотели посмотреть на камень. Вся компания, за исключением Паши, оставшегося отчитывать охранника, последовала за Шербетом Мамедовичем к краю площадки, где перед невысоким вязом стоял нарядный маленький погрузчик с измазанными в грязи вилками. Камень лежал в стороне: метра полтора в длину, массивный, и действительно очень фаллический по форме. Академики стали активно фотографировать его на телефоны.

– Папа, – окликнул его сын. – Тебя Сара...

– Что? – не сразу сообразил Мирза Халил.

– Тетка с тобой хочет поговорить.

Мирза Халил взял у него телефон.

– Мирза, я звоню целый день, как ненормальная! Совести не хватает написать, что доехал? Я же... Только не говори, что не слышал!

Связь прерывалась.

– Сара... Сара... – беспомощно повторял Мирза Халил, тщетно пытаясь объясниться. Сара, как всегда, не слушала. Прикрыв ухо рукой для лучшей слышимости, он смущенно отошел на несколько шагов в сторону, подальше от академиков и Шербета Мамедовича. – Да послушай же...

И тут он увидел канистры. Вначале, конечно, он решил, что это еще один загадочный кот в мешке, и опешил: так же, как утренняя находка, канистры были прикрыты ветками плюс еще каким-то строительным мусором. Они были скрыты от дороги и площадки стеной кустов и деревьев, но с того места, где оказался Мирза Халил, были видны хорошо. Уже не обращая внимания на Сару, он подошел ближе и, внимательно всмотревшись, сразу же заметил неприметный кусок красной тряпицы, как бы ненароком прицепившейся к перепутанному шиповнику. Ошибки быть не могло.

Канистр было четыре. И все четыре были полные. Канистры были связаны друг с другом капроновой веревкой. Мирза Халил проверил все четыре. Бензин.

– Мирза?.. Мирза?.. Ты где? Ты меня слышишь вообще?.. – надрывалась Сара в трубке

– Ну вот! – ответил он, наконец, сестре. – Чутье! В мешке-то – действительно кот! Да еще какой!

5

Канатная дорога несла их вниз, к сверкающим сквозь медленно падающий снег огням гостиницы. И опять напряженно гудели канаты, и опять их цветные сиденья деликатно подпрыгивали, проходя опорные стойки, и опять, несмотря на обжигающий лицо морозец (а может, и благодаря ему!), вид на потемневшую долину заставлял сердце Мирзы Халила биться чуть быстрее. На этот раз он возвращался с Шербетом Мамедовичем, следом за ними был сын Мирзы Халила с внуком, а затем – академики.

– Может, не стоило сейчас прогонять этого балбеса с борщом?

Шербет Мамедович подышал на замерзшие руки и задумчиво посмотрел на Мирзу Халила:

– Вообще-то, если что, Паша и один справится. Человек на борцовском чемпионате выступал, «ЮэФСи»…

– А вдруг их там целая орава? Мы же не знаем, что и как? Ты же сам говорил – местные...

– Суки они! – воскликнул в сердцах Шербет Мамедович и смачно плюнул вниз. – Бездельники! Только и знают, что деньги тянуть. А работают через задницу. Потому и в говне живут. То у них свадьбы, то у них похороны, то еще что-нибудь, а теперь еще и понос!

Он достал из кармана вейп:

– Ты, кажется, не куришь? Правильно делаешь, между прочим. Но это, говорят, безопаснее сигарет. Хочешь попробовать?

Мирза Халил, бросивший курить несколько лет назад, не слишком решительно отказался.

– Значит, ты уверен, что кто-то из местных канистры припрятал?..

Согласно рассказу Шербета Мамедовича, с самого начала все шло более-менее предсказуемо. Стройка двигалась. Местные из Сюрмяли выстраивались в очередь, нанимаясь строителями, разнорабочими, шоферами. К Шербету Мамедовичу звонили и шли просители. В поисках работы приезжали даже из ближайшего городка, находившегося почти в 70 километрах от стройки. Однако все равно к началу отделочных работ сантехников и толковых электриков пришлось везти из Баку. Стройку вчерне закончили еще осенью прошлого года. С весны обустраивали будущую трассу, ставили подъемник. Когда в середине августа стали расчищать участок на вершине под смотровую площадку и наткнулись на захоронение, начался ажиотаж: местные радовались тому, что «турист теперь пойдет косяком», что будет много работы, что жилье и земля поднимутся в цене.

– Говорю тебе, даже пахать стали лучше! Правда, все пытались залезть туда, в пещеру, любопытно же поглядеть, но я сразу все это пресек: охрану поставил, даже ментов из райцентра привезли на пару недель, для солидности, но от них пользы, сам знаешь... А сейчас Паша за всем этим делом приглядывает. Он, знаешь, не только парень крепкий, но еще и не дурак. Составил график дежурств, набрал людей.

— Значит, думаешь, что-то случилось две недели назад?

– Да, приблизительно. Все вдруг пошло как-то не так. Я такие вещи сразу чувствую. Не первый объект строю...

– Ты имеешь в виду отравление?

– Да нет, еще до отравления. Как тебе сказать, настроение как будто бы поменялось. То они все нарадоваться не могли, полный энтузиазм, типа, сейчас зажи-

вем, а тут вдруг на работу перестали выходить, то болеют, то еще что-то. Собственно говоря, они и не нужны уже так, на отделке у меня свои бригады из города, но все равно. Работы еще всякой хватает. Да, вот еще – техника вдруг начала безостановочно ломаться! Новые почти погрузчики, краны – непонятно! У одного полуторатонника песок оказался в смазке. Спрашивается, каким образом? Ну, явный саботаж! Паша Сабира к стенке припер, – Сабир это прораб наш, – тот говорит, слышал краем уха, кто-то жаловался, что зря мертвецов потревожили, что их обратно закопать надо, от греха подальше. Спрашивается, а чего раньше не возникали? Наоборот, радовались! Чего спохватились?

– Может, их кто-то накручивает? Какой-нибудь салафит? Развелось их...

– Это точно. Я вначале тоже так подумал. Но у них здесь с этим строго. В смысле, под контролем. Место маленькое, все друг друга знают. И потом, имам здешний – отличный парень. Свой, в общем. Молодой, пробивной, хваткий. Мы, кстати, помогали ему мечеть достраивать. Старая – одно название было. Материалом помогали, техникой. Облицовку сделали. Короче, в турецком стиле, как сейчас строят. Отсюда не видно, а с дороги, когда подъезжаешь к нам сюда – километра два или три от поворота направо стоит.

Мирза Халил поежился и поднял воротник пальто. Снег как будто бы не падал вовсе, а висел неплотной пеленой над застывшей долиной. Давно прошло обеденное время. Он заметно проголодался.

– Мороз…

– Рановато в этом году, конечно, – сказал Шербет Мамедович, перекатывая во рту ароматный дым. Обернувшись назад, он помахал внуку. – Закутайся, закутайся, сынок!.. Слушай, как же он все-таки на меня похож! Особенно когда улыбается! Что значит – генетика сильная!

Мирза Халил похлопал друг о дружку ногами в полуботинках.

– Ты уж не обижайся, Мирза! Но в самом деле похож... – спохватился Шербет Мамедович и полез в карман за телефоном. – Давай я тебе имама покажу. Вот... Значит, парню еще тридцати нет, а уже на Хадже был. Верующий парень. Такой... идейный, как говорится. Борода лопатой, но еще и спортсмен! Лыжник! Представляешь? Любит парень лыжи. Мы с ним еще и на охоту пару раз выбирались – стреляет отлично! На уток ходили. А летом имам на мотоцикле гоняет! И не какой-то там «Днепр» зачуханный, а очень приличная «Honda». Смотри! Вот это его инстаграм.

Мирза Халил прищурился:

– На чеченца похож. На Кадырова.

– Ага, похож! Только этот веселее!

На фотографии коренастый рыжебородый парень в ярко-желтом комбинезоне, улыбаясь, позировал со сноубордом в руках. В натянутых на шлем лыжных очках отражался еще незаконченный фасад гостиницы с подъемным краном. На другом фото он был уже в крутой кожаной куртке с надписью «Harley», на мотоцикле. Дальше было много разного камуфляжа, с оружием, во время игры в футбол, на фоне мечети.

– Откуда такой взялся?

– Отец у него – приличный мужик, как говорится, старой закалки. При Кямране Мамедовиче был секретарем райкома. Сейчас, бедняга, болеет. Сахар, еще что-то... Но тоже веселый. Сынок, видишь, своеобразный получился. Две жены, между прочим, содержит, все как положено. И от каждой по сыну, – хохотнул Шербет Мамедович. – Неофициально, конечно.

Обедали обильно и вкусно. Сидели в будущем ресторане гостиницы с видом на холмы и лес. Обшитые деревом стены были щедро увешаны охотничьими трофеями вперемежку со старинными ружьями и примитивными снегоступами, напоминающими теннисные ракетки. Над добротными столами с проступающей сквозь темный лак древесной текстурой горели ветвистые люстры, искусно составленные из настоящих оленьих пантов. В камине, таком же, как в офисе Шербета Мамедовича, жарко трещал огонь.

Поддавшись на уговоры, Мирза Халил все-таки выпил за обедом три рюмки водки и теперь, вытянув ноги, сидел с повеселевшими академиками перед камином. Изо всех сил борясь с дремотой, он слушал рассказ сына про экзотическую жизнь в Малайзии. Сын служил в Куала Лумпуре при посольстве. Судя по всему, Малайзия эта была местом любопытным, однако явное неумение его отпрыска рассказывать интересно, не останавливаясь детально на банальных подробностях, производило весьма удручающее впечатление. Украдкой разглядывая мелкие черты его лица, его тощую шею с выдающимся кадыком, его нервные пальцы, Мирза Халил безуспешно пытался возбудить в себе хоть какое-то теплое чувство к нему, как минимум, назло прозорливой Саре, всю жизнь считавшей его глубоко равнодушным и холодным человеком.

Когда сын добрался до долгого описания какого-то буддистского храма, его с порога окликнула супруга. На ней была длиннополая дубленка с капюшоном, на руках – перчатки. Поправляя очки, сын поднялся с места:

– Разве не холодно? – спросил он осторожно, кивая в сторону панорамных окон, за которыми уже крупными хлопьями падал снег.

– Доктор сказал – каждый день минимум час. Помнишь?

– Я просто говорю, вдруг заболеешь... – Он встал и, с шумом отодвигая массивное кресло, пояснил, глядя куда-то в сторону:

– Ей надо на воздух каждый день, из-за гипоксии.

– Извиняюсь, у моей супруги тоже гипоксия была. – Встрял кудрявый академик.

– Рашадик тоже идет?

– Нет, ему сегодня уже хватит. Он с мамой и Гюлей. Я дала ему айпад, пусть поиграет немного.

– А папа где?

Мирза Халил невольно поморщился.

– Он у себя, на телефоне.

Они ушли. Мирза Халил остался с академиками перед полыхающим камином. Откуда-то появилась бутылка коньяка. Молчаливый, не спрашивая, разлил коньяк по рюмкам. От коньяка повеяло каким-то позабытым комфортом, молодостью, давно утраченным в суматохе последних лет стилем. Они чокнулись и выпили, не закусывая.

Кудрявый вернулся к главной теме дня – к загадочно сохранившимся в погребальной камере покойникам, которых он упорно именовал «Сюрмялинским повелителем» и «Сюрмялинской принцессой».

– ...это называется «жировоск». Если труп оказывается в месте, где почти нет воздуха и много влаги, тело как бы трансформируется, превращается в подобие воска. Или, как говорят, обмыливается. При этом иногда даже мельчайшие детали кожи сохраняются. Подробно первыми это описали французы. Фамилию сейчас не вспомню.

– Турэ, – прошамкал молчаливый.

– Точно. Но там еще был второй. На «Ф». Неважно. В нашем случае в погребальную камеру воздух, вроде, проникает. Правильно? И влажность там нормальная, воды я там не увидел.

Молчаливый с сомнением покачал головой.

– Согласен, внутрь мы не спускались. Надо замеры делать. И вообще, может, аномалия какая-нибудь.

– Шпенглера ждать надо.

– Да ради бога! У нас такие головы есть – любые американцы обзавидуются!

– Немец.

– Что немец?

– Шпенглер.

– Да какая разница? Я вообще говорю! Возьмем хоть тебя самого – ты же выдающийся ученый! – кудрявый академик повернулся за поддержкой к Мирзе Халилу. – Наш Вели-муаллим – выдающийся ученый! Говорю со всей ответственностью! Просто не ценим сами себя...

– Торфяное дубление.

– Что? Торфяное дубление?.. Нет, дорогой, Вели-муаллим, это нам тоже не подходит: где ты здесь видишь болота? Для торфяного дубления нужен торф, разве нет? В торфе эти... кислоты, которые уплотняют кожу. Дубят ее, короче говоря...

– Я читал про торфяные мумии, – ухмыльнувшись, вдруг вспомнил Мирза Халил, подставляя рюмку. Молчаливый разлил коньяк по второму кругу. – «В Науке и Жизни» статья была. Хороший был журнал, между прочим…

Он увидел в окно, как на площадку перед гостиницей вышли невестка с сыном. Пройдя до неработающего еще фонтана, они стали фотографировать друг друга на фоне побелевших от снега елей. Время было около четырех, но с холмов уже сползали холодные синие сумерки. И вдруг Мирзу Халила охватило странное беспокойство: что-то в идиллической картине того, как сын с невесткой развлекались за окном, показалось ему тревожным и неестественным. Пригубив коньяка, он передвинул кресло, чтобы происходящее было лучше видно. Вот невестка сгребает снег с края фонтана, лепит снежки и манерно, словно снимаясь на камеру, кидает ими в супруга. Он притворяется, что протестует, уворачивается. Тоже начинает лепить снежок. После каждого действия оба достают телефоны и начинают фотографировать друг друга. В камине с треском лопнуло полено, оранжевые искры утянуло в дымоход, и в это самое время Мирзу Халила вдруг осенило: они-то тут совершенно одни! Совершенно одни на всю громадную территорию! Позировать не для кого! В гостинице, не считая его самого с академиками, Шербета Мамедовича с женой, да сына с невесткой и внуком, лишь няня по имени Гюля. Да еще на вершине холма в компании нетленных покойников замерзает Паша. На виду не было ни прислуги, ни официантов, ни охраны, во всяком случае, с того момента, как они вернулись в гостиницу, никто из них не попадался ему на глаза.

– Вы слышали про него?

– Да, да! – рассеянно кивнул Мирза Халил.

– Я и говорю, да, этот Итигилов – просто феномен! Я на «ютубе» как раз передачу смотрел про него…

– Итигилов? Кто это такой?

– Лама, – пояснил молчаливый.

– Итигилов – это буддистский монах. Лама Итигилов. Неужели не слышали?

– Бурятия.

– И чего он?

– О! Так интересно! Этот Итигилов умер, кажется, в 1927-ом году. Значит, всех собрал, учеников, и так далее, сел в какую-то коробку специальную, в позу лотоса, конечно, помолился, и умер.

– Просто взял и умер?

– Ну да! Говорят, он попросил учеников, чтобы они начали читать молитву, как за покойника, а ученики все не решались, тогда он сам начал. Читал, читал и умер. В общем, его похоронили. Все, как полагается. Но самое важное, перед смертью Итигилов сказал, что он не умирает, а как бы засыпает, представляете? Сказал, что ровно через 75 лет его нужно выкопать!

– И что? Выкопали?

– Выкопали! И он как живой! Сидит. Глаза закрыты, все на месте, почти как наши там, в пещере. Не сгнил, не испортился. Говорят, он даже потеет! Как живой. Там исследовали его, потом запретили, вроде бы.

– И что, его можно видеть, этого Итигилова?

– Ну да. Он в каком-то главном храме Бурятии. На праздники приходят паломники, тысячи людей, его можно видеть. Многие считают, что лама все еще живой, просто в состоянии нирваны.

– Как медведь, – в первый раз за все время улыбнулся молчаливый.

– Почему бы и нет, Вели-муаллим? Вы посмотрите на «ютубе» передачу, очень интересно.

– А чего смотреть, у нас теперь свои Итигиловы есть.

– А я о чем? Если Итигилов каким-то образом все еще живой, может, тогда и наши принц с принцессой живые? Вот прикол будет, если их оживить!

– И что с ними потом делать? Пристроить сюда, в гостиницу, на ресепшене работать? Просто кино какое-то!

– «Волшебный халат», – подсказал молчаливый.

– Точно!

За окном, ловко маневрируя, несмотря на выдающийся живот, невестка прямой наводкой пульнула снежком в лицо супругу, и теперь он стоял, согнувшись пополам, и высмаркивал под ноги кровавую юшку. «Вот ведь, сукина дочь, что делает, – подумал с горечью Мирза Халил, – даже беременная крепче этого дурака!»

Допив коньяк, он поднялся с места и, знаками давая понять академикам, что должен отлучиться, вышел из зала ресторана.

На ресепшене никого не было, но из полуоткрытой двери офиса доносилась музыка. Воровато мелькая в зеркалах, Мирза Халил зашел за стойку и осторожно заглянул в комнату; на столе за компьютерным монитором играло портативное радио. Наскоро осмотревшись, он подошел к доске на стене, где кнопками были приколоты всякого рода распечатки, рекламные проспекты, расписания и меморандумы. «То, что надо!» – подумал он, отдирая от доски схему гостиничных этажей.

– А это что? График дежурств. «Мог». Могила, наверное? Интересно. – Недолго думая, Мирза Халил экспроприировал и график дежурств. Больше на доске ничего примечательного он не нашел и, оглядевшись еще раз на всякий случай, вышел обратно в фойе, припоминая на ходу застрявшее в голове выражение какого-то по польского философа, что «карта не есть территория». Выражение всегда казалось ему

нелепым своей совершенной очевидностью, но при этом все равно заставляло задуматься. Конечно, карта не есть территория, на ней изображенная. Какой дурак станет спорить? Но, с другой стороны, как только пытаешься вообразить себе какую-нибудь местность, на ум в первую очередь приходит именно карта.

– Понятно! – сказал он вполголоса, держа перед глазами схему. Фойе утопало в долгих зимних сумерках, щедро сочившихся из высоких окон. Шелестел теплый кондиционированный воздух.

– Значит, нам нужно в это крыло и – до конца. Или… – он перевернул схему. – А так?.. Подожди, получается, что этот ведет к бассейну…

В этот момент входные стеклянные двери разъехались, и на пороге возникла припорошенная снегом невестка. При виде Мирзы Халила она показательно всхлипнула и, не говоря ни слова, придерживая живот обеими руками, рысцой проскочила мимо в коридор, ведущий к номерам. Следом появился ее супруг. Он шел нетвердо, откинув голову назад и заткнув распухшие ноздри пальцами. Правый глаз его уже основательно затек.

– Что случилось? – воскликнул Мирза Халил, делая вид, что не в курсе происшедшего.

– Папа?.. – Повернув голову, сын страдальчески поглядел на него здоровым глазом. – Ничего страшного. Снежком попала…

– Каким снежком, слушай, да у тебя все лицо разбито!

– Она же не специально, в снежке кусок льда оказался.

Ворот его куртки и джинсы был забрызганы подсыхающей кровью.

– Ничего себе, поиграли в снежки!

– Пойду, умоюсь…

– А куда она побежала?

– Переживает, – гундосо сказал сын и, пожав плечами, свернул за угол.

Проводив его взглядом, Мирза Халил неодобрительно покачал головой. Через полминуты из глубины коридора послышался взволнованный голос супруги Шербета Мамедовича, самого Шербета Мамедовича, Гюли, всхлипывания невестки, потом в унисон ей захныкал ребенок. Тем временем Мирза Халил спрятал в карман очки и двинулся в правое крыло гостиницы, где, согласно схеме, должны были находиться комната охраны, котельная, кухня и склад.

Он почти добрался до конца коридора, когда его догнал Шербет Мамедович.

– Заблудился, что ли, Мирза? Там дальше кухня. Слушай, я говорю, что за день сегодня! То одно, то другое!

– А что такое?

– Ну, ты видел, что дочь моя с твоим сыном учудили? Она сейчас там в истерике, у него глаз заплыл, лежит, ребенок плачет…

– Безобразие, – легко согласился Мирза Халил, а затем, не давая Шербету Мамедовичу перехватить инициативу, быстро спросил. – А где вообще все?

– Ты имеешь в виду персонал, что ли? Так стройка уже третий день стоит, Мирза, сам знаешь! Так что на сегодня только горничную вызвали и на кухню повариху. Но они сразу после обеда ушли, сегодня ж воскресенье. Завтра с утра придут. С охраной вот непонятно, что творится: одного я выгнал, ты сам видел, а напарник его – они обычно смену по двое дежурят – так и не явился сегодня! Паша ему двадцать раз звонил. Телефон отключен! Ну, ничего! Рано или поздно он объявится, я ему устрою! И главное, понимаешь, ключи у него! Вообще всех их разгоню! Паша

сменщикам тоже звонил, все куда-то девались! Один в городе, понимаешь, другой пьяный в ж…у! Животное! Ни на кого положиться нельзя!

– А от чего ключи?

– От каптерки. Там же холодно сейчас, наверху. Сдохнуть можно. А они чего парами дежурят, чтобы по очереди в каптерке греться. Там же должны и перекусывать. Немец предупредил, чтобы никаких температурных колебаний. Даже чай горячий туда заносить нельзя.

– А тебе не кажется, что это все неслучайно? Рабочие вдруг отравились, а теперь охрана вся куда-то девалась? Канистры?

Шербет Мамедович внимательно посмотрел на Мирзу Халила, а затем, подумав, отмахнулся:

– Ерунда это все. Просто совпало. Я, Мирза, строитель. Еще не такое видел. Как-нибудь посидим, расскажу. А насчет канистр – бензин кто-то сливал, и все. Народ вороватый. Дай возможность – всю стройку до гвоздя растащат. На кой черт им эта могила? Все же нормально было. Мы могилу не первый день, как раскопали. Улавливаешь?

– Может быть, – неопределенно ответил Мирза Халил. – Но лучше подстраховаться…

– А я и подстраховался! – усмехнулся Шербет Мамедович и сверился с «Брегетом» на запястье. – Через полчаса, максимум через сорок минут полиция подъедет. И с сегодняшнего дня – все. Будут парами наверху дежурить. Заканчиваем самодеятельность. Дело государственное. Тем более, что в следующую пятницу немец с ассистентами прилетает. Так всем спокойнее будет.

-Тогда, конечно, другое дело.

– И потом, у меня там над входом камера. Прямо над входом. Паша устанавливал сам. Ее так не видно, но если кто сунется, как говорится, из-под земли достанем! Я, Мирза… – он поднес к уху заливающийся трелью мобильный. – Да, слушаю!.. Слушаю, говорю!.. Ну?.. Когда?

Продолжая говорить по телефону, Шербет Мамедович принялся нервно мерить шагами коридор. Мирза Халил тем временем незаметно свернул в трубочку схему и сунул ее себе в карман. Наконец Шербет Мамедович дал отбой.

– Вот ведь паскуды! – со злостью выругался. – Ни на кого положиться нельзя! Застряли они!

– Полицейские? – угадал Мирза Халил.

– Фура с каким-то говном на мосту перевернулась! Еще и в стойку моста въехала! Водитель – то ли живой, то ли фиг его знает! Выковыривают его оттуда. Теперь еще ждут технику, чтобы оттащить фуру. Говорят, там, внизу, в райцентре – метет по-настоящему. И обледенело все к черту! А тут, вроде, пока ничего…

– Объездной дороги нет?

– Есть. Но, по правде сказать, это так, название одно. Во-первых, крюк километров в шестьдесят, и через деревни, вдоль реки. Проселочная дорога, а сейчас еще с этим снегом! Не поедут они в объезд.

«В общем, Агата Кристи получается», – подумал Мирза Халил, а вслух сказал:

– Выход какой-нибудь есть? Придется ждать.

– Так-то оно так, только вот Паша там, наверху, душу богу отдаст, – задумчиво сказал Шербет Мамедович. – Или еще сбежит. Хотя он парень проверенный… Что за день сегодня! Голова кругом идет!

– Ну, раз такой расклад, может, я ему ключи отвезу? – осторожно предложил Мирза Халил. – Еды какой-нибудь горячей. Ты говорил, там на машине километров двадцать.

– Двадцать? Да нет, поменьше. Извини, что спрашиваю, а ты водишь вообще?

– Сорок лет стажа, – холодно ответил Мирза Халил.

– Не обижайся, Мирза. Просто не в курсе. Голову потерял совсем… Поезжай, прошу тебя. Очень выручишь. Держи. Только имей в виду, сват, – добавил он полушутя, полусерьезно, – мой «кубик» у меня после семьи, бизнеса и этих покойников на горе – в жизни четвертый по значимости!

– Может, тогда не стоит рисковать?

– Бери, бери! Так мне спокойнее будет. На «кубике» всюду доедешь. Думаю, часа за полтора обернешься. Дорога, плюс покараулишь, пока Паша в каптерке поест. Ты извини, что нагружаю, но на то и родственники! Разве нет? Слушай, может, кого-нибудь из академиков с собой возьмешь? Веселее будет…

Мирза Халил быстро подумал и отмахнулся:

– Да ну их!

6

Четвертая по значимость вещь в жизни Шербета Мамедовича Мирзе Халилу сразу же не понравилась. Салон был узкий, сидеть было неудобно, хотя и высоко. Подвеска была невероятно жесткой. Однако, когда он, наконец, вывел машину на основную дорогу, которую успело уже основательно занести снегом, он оценил брутальную, но послушную мощь автомобиля. Стараясь держаться середины, Мирза Халил сидел напряженно, привыкая к езде. На поворотах из просек в запорошенном лесу начинало сильно тянуть ветром, и тогда снег начинал лететь под углом, сбивая с толку. Как и обещал Шербет Мамедович, километров через семь Мирза Халил увидел тускло мерцающие огни Сюрмяли, а затем и тот самый дорожный знак, который он проезжал с академиками утром. Теперь от развилки он свернул налево и двинулся по серпантину вокруг деревни. Как будто бы стало мести сильнее. Во всяком случае, сугробы на поворотах стали выше, и сама дорога, теперь все время идущая вверх, в свете прыгающих фар сузилась до размеров колеи. На жесткой подвеске Мирзу Халила все время трясло и подкидывало, и он невольно вспомнил те канувшие в лету времена, когда молодым следователем прокуратуры он мотался с водителем по районным центрам в почти таких же по комфорту «уазиках» и «виллисах». При всем при этом автомобиль все больше нравился ему своей резвостью и силой. Легко преодолевал он заносы на особенно крутых поворотах, в которые входил небольшим юзом, веером разбрызгивая перед собой снег. Мирза Халил позволил себе чуть расслабиться. Нащупав рукой кнопку, он включил стереосистему. Разумеется, заиграло что-то очень джазовое, во вкусе Шербета Мамедовича. С минуту он терпеливо слушал какую-то очень уж замысловатую композицию, в которой тон задавал кларнет с явным цыганским прононсом, затем стал наугад тыкать в кнопки, в надежде обнаружить что-нибудь более конвенциональное. Нашел новости. Диктор сообщил, что холодный фронт, накрывший в полдень Баку, сместился далеко на северо-запад, принес с собой метель, плохую видимость и гололедицу. Упомянут был и районный центр N, который вдруг оказался едва ли не в самом эпицентра навалившейся на страну непогоды. Сообщил он также и о многочисленных авариях, и о том, что на дороги вы-

ведена снегоуборочная техника.

Тем временем уже вошедшая, по утверждению академиков, в историю деревня Сюрмяли давно исчезла в зеркале заднего вида, и лишь легкое свечение обозначало то место, где она пропала за поворотом. Дорога стала еще круче, извилистее, колея глубже, а ближе к вершине холма снег полетел гуще, замельтешил в свете фар. Однако Мирза Халил, уже совсем привыкнув к машине, почти не сбавлял скорости, получая наслаждение от ровного гудения мотора, урчащего с явным запасом. И впервые за много лет ему, давно уже переставшему водить, – считай, с начала 2000-х – вдруг снова захотелось иметь автомобиль, пусть даже и не такой прыткий и вездеходный. Но на то, чтобы купить машину не было ни денег, ни, самое главное, резона. Куда на ней ездить? Разве что на рынок.

«Кубик» лихо подпрыгнул на обледенелом ухабе, Мирзу Халила ощутимо тряхнуло, он даже ударился не очень больно головой о потолок, но когда машина опустилась на все четыре колеса, на дорогу в полоску света метнулось что-то быстрое, черное и замерло на мгновенье прямо посередине колеи, глядя на него парой изумрудных глаз. Он рванул руль вправо, отжимая одновременно тормоза, но скорость почему-то не упала, зато автомобиль развернуло на тридцать градусов, и его быстро вынесло с дороги к поросшему лесом склону холма. Влетев в сугроб, «кубик» оторвался правыми колесами от дороги и тяжело завалился на бок. Послышался резкий треск.

Мотор продолжал работать, пока Мирза Халил не повернул ключ зажигания. Судя по тому, что не сработали подушки безопасности, удар был не слишком сильным, однако по облепленному снегом лобовому стеклу паутиной расползлась трещина. Он осторожно пошевелил пальцами ног в ботинках, ощупал шею. Если предположить, что машина просто завалилась набок, да еще на снег, – ущерб любимой игрушке Шербета Мамедовича должен быть нанесен самый минимальный. Если повезет, может даже получится поставить ее на колеса самому. Главное теперь – выбраться из машины.

Это оказалось делом непростым. Если в резвости и мощи «кубик» явно мог дать фору любой другой машине, то салон его был все-таки очень узкий, и Мирзе Халилу пришлось изрядно потрудиться, чтобы выбраться наружу через пассажирскую дверь. Мешали пальто, полуботинки сорок третьего размера, клаустрофобия и страх того, что машина остановилась на краю какой-нибудь пропасти и вот-вот начнет скользить вниз.

Машина действительно зависла на краю. Но только не пропасти, а широкого оврага, определить глубину которого из-за снега было невозможно. Завалившись набок, она докатилась до края, уперлась в плотные заросли, которые, судя по всему, и были источником услышанного им при падении хруста. На этом хорошие новости почти кончились: перевернуть «кубик» без посторонней помощи, лебедки и какого-нибудь трактора было нереально. Качая головой, Мирза Халил ходил вокруг машины, страшно матюгался и скрежетал зубами, вспоминая ослепленные светом фар изумрудные кошачьи глаза.

– Неужели тот самый поганый кот из мешка? – возмущался он вслух. – Тьфу! Чтобы тебя разорвало, гадина! Надо было мне тебя спасать?..

Делать было нечего, нужно было идти. Идти обратно в Сюрмяли было глупо. Он проехал его километров двенадцать назад. Оставалось идти вверх и надеяться, что до вершины осталось недолго. Подумав, Мирза Халил с трудом открыл заднюю

дверь внедорожника с подвешенным к ней запасным колесом и достал сумку с едой для Паши. Еще он надеялся найти там какой-нибудь инструмент для самообороны или, еще лучше, фонарь. Но нашелся лишь футбольный мяч и пакет с банным халатом и сланцами. «Хорошо, хоть ботинки теплые, не зря покупал», – подумал он без особой радости и, застегнувшись на всевозможные пуговицы и замки, двинулся по обледенелой дороге вверх. И пока ушел еще недалеко, то и дело с грустью поглядывал через плечо на перевернутую машину, словно в надежде, что чудесный продукт немецкого автопрома вдруг оживет и каким-то образом сам перевернется на брюхо.

Сколько еще предстояло идти, Мирза Халил, разумеется, не знал, но надеялся, что недолго: подниматься вверх по занесенной снегом грунтовой дороге было делом нелегким. Он спотыкался, сбивался с ритма, пару раз почти упал, поскользнувшись на обледенелых краях колеи. Очень мешала сумка с едой для замерзающего Паши, а тут еще метель как будто только начала набирать обороты, стала густой, размашистой, крупные хлопья снега липли и цеплялись к бровям и ресницам, и их все время приходилось смахивать прочь, как мошкару. Идти, между прочим, было не только сложно, но и довольно страшно. Успели уж сгуститься до темноты долгие зимние сумерки, недобро поскрипывали на морозе стволами деревья, трещали кусты, в глубине фиолетовых пролесков мельтешили короткие тени, и все не покидало Мирзу Халила странное чувство, что кто-то из-за спины следит за ним парой внимательных глаз. Уж не проклятый ли кот из мешка? Попеременно оглядываясь по сторонам, он почему-то вспомнил, как бабка со стороны отца поила молоком приблудную рыжую кошечку, пришедшую к двери ее одноэтажной и темной халупы в крепости…

Да мало ли кто еще, помимо дурацкого кота, может бродить в этих лесах?

Позже, рассказывая обо всем произошедшем доктору Мурадову, Мирза Халил со смехом вспоминал, что от холода очень хотелось писать, однако, подгоняемый страхом, он никак не мог заставить себя остановиться хотя бы для того, чтобы только справить нужду, и продолжал идти, все больше прибавляя шаг.

В конце концов заболели колени, и как он ни старался дышать в поднятый воротник пальто, от мороза стало уже першить в носу и горле. А дорога и подъем все казались бесконечными. Однако на самом деле шел он недолго, примерно минут двадцать, когда за очередным поворотом спасительным маяком вдруг замаячила строительная техника в белесом свете прожекторов.

Помочился Мирза Халил уже только на вершине холма, помечая горячей струей колеса застывшего автопогрузчика и благодарно щурясь электрическому свету над головой. Вся строительная площадка была укутана белым. По периметру гулял ветер, взбивая снег в жидкие воронки. Ветер чуть подвывал, особенно ближе к краю.

– П-а-ш-а!.. Эй, Паша! – почти весело крикнул Мирза Халил, застегнув ширинку. Ветер утянул его голос в сторону леса.

– Живой?

– Кто там? – откликнулся из-под земли настороженным басом менеджер гостиницы.

– Свои, Паша! Свои!..

Из светящегося провала вынырнула знакомая голова, похожая на боксерскую перчатку.

– Вижу, что живой!

Так во второй раз за день Мирза Халил оказался в могиле.

Несмотря на крепчающий на поверхности мороз, в подземелье было не так уж и холодно. По крайней мере, здесь не дуло и было сухо, лишь на входе чуть присыпало снегом. Слышно было, как над головой раскручивается метель. Горели софиты. Мирза Халил передал менеджеру сумку с едой и сел на пластиковый стул.

– Там тебе теплые носки положили, еще шапку и варежки. А в термосе кофе. Чтобы не заснул. Часа через три, может, четыре, полиция подъедет тебя сменить. Ты в курсе?

Экзаменуя содержимое сумки, Паша кивнул.

– Ценит тебя Шербет... Слушай, не страшно тут одному сидеть?

– А ключи?

– Вот, – Мирза Халил достал из кармана ключи от вагончика.

– Пойду, перекушу.

– Подожди пока, кое-что спрошу, потом иди. Скажи мне, у тебя сколько человек тут постоянно дежурят?

Паша поглядел на него подозрительно исподлобья, пожал тяжелыми плечами:

– А что?

– Да ты не напрягайся, меня Шербет попросил кое-что уточнить. Понял? Простой вопрос: сколько у тебя человек дежурят? Они ведь парами дежурят, так? Посменно?

– Вначале по одному дежурили, – ответил Паша после недолгой паузы.

– А как же греться в вагончике? Кушать?

– Тепло было. Можно было сидеть долго.

– А кушать?

– Две недели, как немец запретил.

– Понятно. Ну, так сколько у тебя человек-то?

– Трое.

– Это с тем, которого сегодня выгнали?

– С ним четверо.

– Ага, – сказал Мирза Халил. – Понятно, две смены по два человека. Так? Ты сегодня, Паша, днем говорил, что этот, которого выгнали, – новенький. Значит, до него было только трое охранников? И что получается – одна смена была неполной?

Буравя тяжелым взглядом Мирзу Халила, Паша не ответил.

– Слушай, а кто такой… сейчас… – Он достал из кармана листок с расписанием дежурств. – Кто такой вот этот Гулиев И.? Я смотрю, он у тебя везде в расписании, месяц назад – Гулиев И., вот еще, пожалуйста, а потом, начиная с прошлой недели, ты его везде вычеркнул и вместо него добавил гражданина Магеррамова В. Я так понимаю, Магеррамов В. – это тот, который сегодня хлебал здесь борщ? Правильно?

– Да.

– Он меня как раз не очень интересует. А вот за что прогнали Гулиева И. – я бы хотел узнать. Расскажешь?

Менеджер молча набычился. Невысокий лоб его вспучился бульдожьими складками.

– Ладно, не хочешь говорить – не надо. Но я все равно узнаю, Паша, – с легкой насмешкой сказал Мирза Халил, сложив на груди руки. – Где, кстати, держишь записи с камеры?

Лицо менеджера пошло красными пятнами.

– Думал, я не знаю про камеру?

Поиграв желваками, Паша молча придвинул второй пластиковый стул и, положив сумку на пол, молча сел.

– Ну?

– Народ водил сюда. На мертвецов смотреть.

– Так я и думал. На записи увидел?

Не глядя на Мирзу Халила, Паша кивнул.

– А чего ты Шербету ничего не сказал?.. Думал, пронесет? Ладно, понятно. Много народу таскал?

– Трое.

– Из Сюрмяли?

– Да.

– Ты их знаешь?

– Анар, имам. И двое друзей его. На лыжах вместе катаются.

– За бабки водил? А что, этот Анар не мог просто Шербета попросить? Они же, вроде, даже на охоту ходили вместе? Или что-то еще?

Паша неопределенно пожал плечами.

– Так что?

Паша опять посмотрел на Мирзу Халила исподлобья, но в этот раз скорее смущенно, чем со злобой.

– Погоди, погоди, дай сам соображу… Что еще-то? Тьфу! На покойницу, что ли, смотреть ходили? Вот ведь народ озабоченный! – возмутился Мирза Халил, гулко хлопнув руками. – Мало им порнухи в телефонах и в интернатах… мало ишаков всяких… им еще, понимаете ли, на мертвую бабу подро…..ть нужно! Вот уроды!.. Ладно, Паша, иди, перекусывай. Иди, иди, потом договорим. Часа тебе хватит?

– Двадцать минут.

– Не надо. Отдыхай час. Вдруг еще полиция задержится, может, вообще до утра сидеть придется…

Как и предполагал Мирза Халил, плита, прикрывающая вход в погребальную камеру, оказалась тяжелой. Сдвинуть ее сразу, как утром это проделал Паша, ему не удалось. Пришлось встать на колени и, напрягаясь изо всех сил, двигать ее в сторону понемногу. Постепенно черный полумесяц становился все шире, из него все сильнее тянуло подвальным холодком, заставляя брезгливо морщиться Мирзу Халила, но, как и утром, – никакого трупного зловония не было, а если и было, то уловить его среди устоявшихся запахов земляного погреба было невозможно.

Наконец проход открылся достаточно широко. Кряхтя, Мирза Халил поднялся с колен и подтащил прожектор ближе к проходу. Не сразу, слой за слоем, свет стал раздвигать плотную темень, и он снова поразился тому, насколько лицо древнего степняка выглядело пугающе естественно. По спине Мирзы Халила пробежала холодная дрожь. Из ямы тянуло не только холодом, но и какой-то оглушительной тишиной, покоем, из которого как будто бы выветрилось без остатка даже само время, как из незакрытой бутылки шампанского выветривается весь газ. Сохранилась лишь оболочка вещей. Но сохранилась на удивление так хорошо, что волосы на руках становились дыбом.

Он осторожно уложил прожектор на пол, плафоном вниз: муж с женой стали видны целиком. До самых носков остроносых войлочных сапожек, торчащих из-под покрывающей супругов медвежьей шкуры. И даже твердо помня из университетского курса криминалистики, что, вопреки расхожей байке, ни ногти, ни волосы у мертве-

цов не растут, он невольно стал разглядывать аккуратные ногти женщины, венчающие ее тонкие, длинные пальцы, унизанные нехитрыми кольцами. Пальцы были действительно красивые. А Мирза Халил, как известно, ценил красивые женские руки. Ценил он и тонкие щиколотки, и высокий подъем стопы, но ног принцессы, увы, не было видно. Лишь войлочные сапожки, расшитые светлым бисером.

Он опять пожалел о потерянном мобильнике. Постояв еще с полминуты в нерешительности, завороженный деликатным образом смерти, Мирза Халил отправился обратно к выходу из подземелья за складной алюминиевой лестницей, которую заприметил еще утром у стены за строительными лесами. Поднявшись по ведущим наружу импровизированным ступеням и вернувшись с лестницей, он встал над проходом, широко расставив ноги, и принялся медленно опускать лестницу вниз, в могилу, словно перекидывая мостик в бездонное прошлое, – пока она не уперлась в каменный пол. Теперь предстояло самое сложное. Для удобства он скинул с себя пальто и бросил его на спинку пластикового стула.

Он спускался медленно, по одной ступеньке, в перерывах прислушиваясь к звукам, и в полной иллюзии, что опускается в колодец, полный неподвижной холодной воды. Где-то над головой по-прежнему были слышны отголоски вьюги, а внизу, в колодце, в который он опустился уже по пояс, стояла самая непроницаемая тишина. Ощущение было удивительное: жуткое и восхитительное одновременно. Мирза Халил чувствовал себя нарушителем, почти преступником, однако маслянистая темнота могилы принимала его в себя почти без сопротивления.

Наконец ступеньки кончились, и он нащупал ногой пол. Отпустив лестницу, Мирза Халил оглянулся. Сюрмялинские супруги лежали прямо перед ним, на невысокой земляной платформе, покрытой досками, на расстоянии вытянутой руки. Ближе к нему лежала женщина. Лица ее все еще невозможно было разглядеть из-за мелкой золотой сетки, спускающейся от тиары до самой груди. Зато стали видны длинные толстые косы с вплетенными в них высохшими цветами, бисером и лентами, и волнующий абрис груди. Кожа на ее руках было бескровной, но чистой, гладкой, без пятен. Сквозь очки стали отчетливо видны даже поры и мелкие волоски.

Наконец, облизав спекшиеся губы, Мирза Халил протянул дрожащую от напряжения руку и, ухватив самый уголок вуали кончиками пальцев, стал деликатно поднимать ее вверх, стараясь при этом не глядеть на лежащего рядом покойника из-за нелепого страха встретиться с его осуждающим взглядом. Вслед за поднимающейся вуалью на шею и на лицо женщины медленно наползал свет прожектора, сильно приглушенный плотной темнотой могилы, и вот уже через мгновенье лицо загадочной степной принцессы все целиком предстало перед ним: Мирзу Халила перекосило от ужаса…

7

Он разлепил отяжелевшие от снега ресницы и удивился тому, что почти не чувствует холода. Лишь что-то пульсировало в пальцах ног. Особенно в правой ноге. Было нереально тихо. Было тихо так, что он не слышал даже собственного дыхания. Будто под водой. Стараясь не делать резких движений, Мирза Халил приподнял голову, чтобы осмотреть ногу, но тотчас же острая, ослепляющая боль электрическим разрядом прокатилось по всему его телу, и он снова беспомощно откинулся на спину. Зато стала понятна причина необычайной тишины: в уши набился снег…

…Морща гармошкой боксерский лоб, Паша вполне наглядно объяснил, как включать и выключать импортный подъемник. Дело оказалось нехитрое. Не прощаясь, Мирза Халил с его помощью вскарабкался на уходящее вниз двойное сидение и начал долгий спуск в убеленную метелью долину, куда новогодней гирляндой убегали белесые огни, обозначавшие вершины пролетов, сквозь которые с напряженным гудением скользили канаты.

Так во второй раз за день он оказался на подъемнике. Прежде горнолыжные подъемники, как и всякого рода загадочные древние захоронения. он видел лишь по телевизору или в кино, преимущественно из зарубежной жизни. А тут все сразу!..

«Повезло?» – думал Мирза Халил, втягивая голову в воротник, потому что сильнее всего мерзли уши. Точнее, верхние кончики ушей. Он накрывал их ладонями, тер, но эффект от этого был минимальный. Покачиваясь высоко над едва различимыми кронами деревьев, он представлял себе то благословенную рюмку коньяка или, черт с ним, пусть водки, но приличной, да с какой-нибудь острой и пряной закусью.

Канаты скользили быстро, уверенно, и до этого различимая в глубине темного пейзажа лишь светящимися окнами шикарная гостиница Шербета Мамедовича становилась все ближе, постепенно обретая форму и плоть, но, учитывая мерзнущую без шапки голову, – недостаточно быстро. А тут еще опять приспичило облегчиться. Мирза Халил беспокойно заерзал. Неужели простата? Скорее, скорее в тепло!

Манящие окна гостиницы вдруг погасли в одночасье, и следом, по цепочке, стали один за другим гаснуть фонари вдоль лыжной трассы, а через мгновенье обесточенная замерла вся канатная дорога. По инерции продвинувшись вперед еще с полметра, зависло, раскачиваясь, и его кресло. Последними погасли огни на вершинах пролетов. И тут же на Мирзу Халила навалилась оглушительная, леденящая тишина, которую только подчеркивали продолжительные механические поскрипывания сидений и канатов и приглушенный свист гуляющего ветра.

– Приехали! – сказал он сам себе в отчаянии, но все еще надеясь, что дорога вот-вот оживет, заработает. Вывернувшись назад и следуя взглядом за жирно блестящими стальными канатами, к которым липли снежные хлопья, попытался он разглядеть в неразличимой темноте вершину холма.

Тем временем в глубине долины вдруг снова тепло и ровно засветились окна гостиницы. «Слава богу!» – вздохнул Мирза Халил с облегчением. Следом загорелись фонари перед парадным подъездом и вдоль ограды. И вокруг неработающего фонтана. А потом… а потом прошла еще минута. И вторая. И третья, а лыжный подъемник так и стоял погруженным во мрак. Еще минут через десять Мирза Халил потерял терпение.

– Эй! – крикнул он неуверенно, пробуя голос: – Паша!.. Эй!

В ответ не было даже слабого эха – все заглушили холмы, деревья и снег. Лишь то же равнодушное посвистывание метели, да монотонный скрип качающихся на ветру сидений. Мирза Халил уже начал осознавать всю отчаянную серьезность своего положения.

Похлопав друг о дружку ногами в полуботинках, он наклонился вперед, прицениваясь к расстоянию до земли. Сразу под ним было высоко. Он прикинул на глаз – метра четыре. Может, больше. А еще неизвестно, что там, внизу, под снегом! Может, камни? Овраг? Строительный мусор? Вот если бы добраться до следующего пролета! Еще утром Мирза Халил обратил внимания на то, что на все пролеты, выглядевшие как «Т»-образные вышки, к крыльям которых, собственно, и крепились

роллеры с канатами, были экипированы приваренными к ним железными ступенями. Очевидно для ремонта и сервиса подъемника. На свою «удачу» он застрял почти ровно на половине пути между двумя пролетами. Приблизительно те же метра четыре, только теперь не по вертикали, а по горизонтали. Если встать на спинку сидения, то можно ухватиться за канат, повиснуть…

– Сто семнадцать килограммов живого веса… плюс одежда! – Мирза Халил со злостью выругался. Опять остро кольнуло в промежности напоминанием о мочевом пузыре. И одновременно с этим на него вдруг навалилась тяжелая, деморализующая усталость. Потянуло в сон. Он стал вспоминать термин, обозначающий смерть от переохлаждения. На языке вертелась одна «гипертония». Откинув полы пальто и стащив перчатку с руки, он спустил замок и стал нервно теребить завязки подштанников.

И так второй раз за день Мирзе Халилу пришлось справлять нужду на морозе, рассекая дымящейся струей стылый горный воздух. На этот раз еще и в нескольких метрах от земли.

Застегиваясь и заправляясь, он подумал, что теперь даже холод как будто бы стал терпимее, и тут же вспомнил, как называется смерть от переохлаждения:

– Гипотермия. Ага…

Выбирать было особенно не из чего.

Осторожно подняв защитную перекладину, Мирза Халил ухватился руками за кронштейн, к которому крепилось кресло и, стараясь не раскачивать его, встал ногами на шаткое сидение. Стало страшно, нужно было действовать быстро. Избегая глядеть вниз, Мирза Халил потянулся к стальному тросу над головой, опробовал его, после чего, набрав в легкие обжигающего морозного воздуха, решительно ухватился обеими руками в перчатках за него и, поджав ноги, повис всем весом. И тотчас мышцы спины потянуло, как перетянутые жгуты, свело предплечья, перед глазами вспыхнули и поплыли цветные пятна, но хуже всего оказалось дело с запястьями: казалось, они вот-вот выскочат из суставов. Мирза Халил зажмурился, нужно было перетерпеть, пока тело, оправившись от шока, не начнет привыкать к боли.

Наконец он переставил правую руку вперед и, качнувшись, сам подтянулся за ней следом. Потом еще «шаг», и еще, все дальше, прочь от желтого кресла. Он двигался к спасительному пролету, энергично перебирая немеющими руками, но каждое новое движение давалось все труднее. А тут еще трос стал извиваться змейкой, врезаясь сквозь перчатки в слабеющие пальцы. Ему пришлось остановиться, беспомощно повиснув над белым склоном. Горячая струйка пота покатилась у Мирзы Халила по хребту. Наступило отчетливое понимание того, что до «пролета» ему не добраться.

Путь обратно был мучительным. Он стал задыхаться, уже не чувствовал рук, а тут еще начала кровоточить правая ладонь, сплошь изрезанная проклятым тросом сквозь перчатку. Когда до сидения оставалось чуть меньше полуметра, Мирза Халил отчаянным рывком попытался дотянуться до него и чуть не сорвался вниз. Уже совершенно обессилевший, он, наконец, добрался до кронштейна, кое-как сполз на качающееся кресло и замер, тяжело дыша, в полном изнеможении.

Метель почти утихла. Внизу переливалась манящими огнями гостиница Шербета Мамедовича. Стало тихо. Лишь временами ветер сдувал со склонов снег и швырял его с сухим треском в Мирзу Халила. Холод пробирал до костей. Взмокшее от усилий белье теперь липло ледяным саваном к телу, отчего любое движение давалось с трудом. Стащив с руки остатки располосованной перчатки, он осмотрел ла-

донь. Порезы кое-где были довольно глубокие и все еще кровоточили. За неимением лучшего, Мирза Халил зажал в ладони остатки перчатки, а затем, подтянув наверх ноги, устроился, как мог, и закрыл глаза. Нужно было думать, что делать дальше, что-то решать. Но думать не было никаких сил. Измученное тело требовало покоя.

– Спать нельзя, – предупредил себя Мирза Халил, засыпая. – Замерзнешь.

Он увидел супругу Шербета Мамедовича в бирюзовом купальнике в шезлонге на пляже почему-то в Новханы, поселке, который он терпеть не мог. Помимо купальника, на ней еще была какая-то широкополая шляпа. Смущаясь, он сидел рядом на песке, на горячем, почти раскаленном песке, чувствуя, как благодатное тепло расходится по всем его одеревеневшим мышцам.

«Ай, ай, ай! – качала она головой в шляпе, как-то двусмысленно улыбаясь Мирзе Халилу. – Мальчику все лицо разбили».

Грудь ее за чашечками купальника выглядела молодой, округлой, стоячей. «Это всё операции», – мстительно подумал он, стесняясь своего интереса к груди супруги Шербета Мамедовича.

«Это ваш телефон звенит?»

«Кажется…»

Стандартная «самсунговская» трель, увы, вернула его с пляжа на лыжный подъемник. Звук был далекий, глухой, но настоящий. Разлепив глаза, он встрепенулся. Стал озираться по сторонам.

– Эй! – крикнул Мирза Халил уже успевшим осипнуть голосом. – Эй! Помогите…

Трель продолжалась. Единственным светящимся пятном во всем пространстве была гостиница в глубине долины. Не мог же он услышать звонок, доносившийся оттуда. И тут вдруг его осенило: преодолевая боль в мышцах, он встал на колени на скользком сидении и, перегнувшись через спинку, посмотрел вниз.

Там, почти прямо под ним, на овражистом склоне, из-под снежного полотна пульсировало и переливалось неоновое свечение. Он даже узнал рингтон: доктор Мурадов! Мирзу Халила охватила паника. Ему казалось – это последний шанс, вот-вот умолкнет мобильный, темнота и холод сомкнутся над ним, как воды, и тогда он точно замерзнет всего в каких-то четырех метрах от земли. Отбросив сомнения, он крепко ухватился за металлическую перекладину безопасности, и, стараясь не думать о том, что может ждать его на склоне, стал медленно сползать с кресла вниз. Неоновое пятно все еще не погасло. Он не выпускал его из поля зрения.

– Ай, Аллах! – просипел Мирза Халил, разжав вконец одеревеневшие пальцы.

Полет был коротким. Удар об землю смягчили снег и пальто. Еще не потеряв сознания, он догадался, что с ногой что-то явно не так.

«Ну, ты знаешь это: стакан то ли наполовину полный, то ли наполовину пустой. Знаешь?»

«Знаю, конечно».

«Вот я и думаю иногда: почему это раньше он бывал то пустой, то полной – поразному, а теперь все время только пустой».

«Просто надо уметь стареть без агонии».

«Только, Мурадов, не вздумай еще учить меня, как надо стареть, ладно? Я по этому делу – чемпион. Сам, кого хочешь, могу научить. Но стакан теперь все равно все время пустой».

«На самом деле, Мирза, стакан одновременно и пустой, и полный».

«Так не бывает. Одно исключает другое».

«Бывает, Мирза. Ты слышал про «кота Шредингера»? Квантовая физика».

«Это который и жив, и мертв одновременно, что ли? Слышал что-то. Фигня какая-то...»

«Это называется суперпозиция – смешение двух состояний, когда отсутствует наблюдатель. Значит, эксперимент такой: сажаем бедолагу кота в коробку, в которой установлен счетчик Гейгера. Туда же кладем радиоактивное вещество, но такое минимальное количество, что оно может распасться или не распасться только на один атом в час... Понимаешь? Теперь, если оно распадается – счетчик реагирует, включается реле и приводит в движение некий механизм, который разбивает склянку с синильной кислотой. Все, бум, и кот сдох. А если не распадается, кот – живой и здоровый».

«Ну, и что из всего этого следует?»

«А то, что пока мы не открыли коробку, кот для нас и жив, и мертв! Уловил? То есть, если мы начинаем вдруг рассуждать про этого самого несчастного кота, мы должны учитывать обе эти возможности. Он как бы существует в двух разных состояниях. Принцип неопределенности...».

«Ерунда все это, Мурадов. Про своего кота мне давно все известно: он давно уже сдох. И даже успел протухнуть. Мне и коробку-то открывать не надо».

...Выковыряв из ушей снег, он приподнялся на локтях, насколько мог. О том, чтобы сесть, не могло быть и речи: боль была такой острой, что его даже стало подташнивать.

«Открытый или закрытый?» – думал он, пытаясь шевелить пальцами. С «плохой» ногой все обстояло из рук вон плохо: любой движение вызывало свежую волну головокружительной боли, зато с другой, судя по всему, все было в полном порядке: он шевелил пальцами, без проблем сгибал ее в колене, и единственное, что вызывало его беспокойство, было то, что она сильно мерзла. Приглядевшись, Мирза Халил обнаружил, что чудесные утепленные «маде ин чина» полуботинки напрочь лишились подошв. То есть, полуботинки продолжали удобно и элегантно облегать его ступни, но вместо подошв, увы, он видел нос и пятки собственных носков.

– Сука! – сказал Мирза Халил в голос, вспоминая плюгавую продавщицу в торговом центре. Помогая ему натянуть ботинки, она со знанием дела убеждала его, что «китайское сейчас даже лучше итальянского, тем более, что все итальянское – все равно китайское, а если так – чего платить больше», и что она сама была недавно в Китае, и хотя все он едят собак, змей и прочую гадость, экономика у них – будь здоров!

– Чтобы ты провалилась со своим Китаем, – испытывая к себе в этот момент невероятную жалость, прошипел Мирза Халил.

Мобильный давно уже перестал звонить. Погасло и неоновое свечение. Теперь в ровной морозной темноте было почти невозможно определить его местонахождение. Он беспомощно озирался по сторонам, в надежде сориентироваться по месту падения.

Превозмогая боль, Мирза Халил приподнялся и сел. На глаза навернулись колючие слезы. Снег все еще продолжал сыпать, но уже не так густо и плотно, как всего пару часов назад, зато ударил мороз. Ждать больше было нельзя. Щурясь, он закинул голову и посмотрел вверх: на фоне светлого от снега неба черным силуэтом неподвижно висело кресло подъемника. Трасса по-прежнему была погружена во мрак.

– Сука! – ни к кому конкретно не обращаясь, снова выдавил из себя Мирза Халил и поразился тому, как сипло и неуверенно прозвучал его голос на фоне равнодушного безмолвия окружающих холмов. Ему стало страшно. Но тут чуть ли не в полуметре от него под снегом снова ожил, заверещал, зазвенел спасительный телефон, испуская, словно магический кристалл, голубоватое свечение. Мирза Халил не стал ждать. Не обращая внимания на боль, рывком перекатился на бок и, дотянувшись, выудил телефон.

– У тебя совесть есть? – кричала ему в трубку сестра Сара. – Трудно позвонить? Я тебе уже двадцать раз звонила! Мирза!..

– Сара…

– Ты где вообще? Эта засранка, твоя невестка, мне говорит, что ты в горы полез! Представляешь? Я говорю, как так? Как вы его отпустили, он же пожилой человек! А она мне: я не знаю! Идиотка! А сынок твой вообще к телефону не подходит. Спит, видите ли! Главное, она со мной так разговаривает, как будто я ей денег должна! Вся их порода такая, самодовольная… И мать эта ее, дура, губы накачала, сиськи сделала – прямо хоть замуж выдавай!.. Ты где сейчас, Мирза? Ты что, на самом деле в горы полез? Обалдел на старости? Хочешь шею сломать? Калекой остаться на мою голову! С каких это пор ты лыжником стал?

– Сара…

– Подожди, подожди, что у тебя с голосом? Выпил, что ли!.. – взвизгнула она.

– Сара, Сарочка, ты не представляешь, – просипел он, улыбаясь обветренными губами, – как я рад тебя слышать.

– Да ты совсем пьяный!

8

– Ну, не тяни уже, Мирза, что там было-то? Заинтриговал.

Игнорируя вопрос, Мирза Халил кивнул небритым подбородком на ногу в ортопедическом сапожке:

– А ведь первый раз в жизни ломаю, Мурадов. Вот сейчас вспоминаю – сто раз падал, и ничего. И в авариях был. И в драках всяких… Синяки только. – Он вдруг задумчиво замолчал. – Мать покойная Сару, жену твою бывшую, всегда жалела. А про меня говорила, что шкура у меня толстая. Ничем не проймешь.

– Что она, сгнила?

– Кто?

– О ком говорили? Принцесса твоя! Сюрмялинская красавица.

– Лучше бы уж сгнила.

– Тогда что?

Мирза Халил покачал головой и одним глотком допил виски. Виски принес Мурадов.

– Не хочешь говорить, не надо.

– Ладно, Мурадов, только опять предупреждаю: дело это на контроле. На самом деле. Мне уже звонили два раза. С нашей стороны знают только 6 человек. Имей в виду. Ты будешь седьмым. Но официально ты ничего не знаешь. Вообще ничего!

– Я же обещал, Мирза…

– Слушай, давай допьем уже, что там осталось …

– Мирза!

– Всё! Всё!.. – вздохнул он и сказал полушепотом: – Короче, мужик там оказался. Понимаешь?

– Что? – грузно подался вперед Мурадов. – Кто оказался?

– Ну, мужчина, прости, господи, оказался. Не принцесса никакая. Точнее, принцесса, но только мужского пола... как сейчас модно…

– Подожди, подожди, Мирза, как так? Ты имеешь в виду дама была без эпиляции, что ли? Некрасивая? Монобровь и все такое?

– Я имею в виду, Мурадов, что это был мужчина. Мужчину от женщины я еще отличить могу. С усами, с бородой. Только женоподобный. Трансвестит, короче, или как они там, тьфу, называются!

– Не торопись. Борода и усы еще ничего не доказывают. У меня была тетка с отцовской стороны, так она, как только беременела, – обрастала так, что из дома выйти не могла. Реально! Девять месяцев от людей пряталась! Гормональный сдвиг. А вообще, есть такая дисфункция, в медицине это называется гирсутизм. По статистике…

– Успокойся, Мурадов! Плохой или хороший, но я бывший следователь… – возмутился Мирза Халил. – Я ей… прости, господи… даже под платье заглянул!

Откинувшись на спинку, Мурадов стал безудержно хохотать:

– И что там?!

– Тьфу! Безобразие! – Мирза Халил дотянулся до бутылки и разлил по фужерам остатки виски.

– Лажа какая!.. Принцесса степная!.. Может, певец какой был древний… – продолжал стебаться Мурадов.

– Все, замяли! Я же только что объяснил!

– Молчу! Молчу! Однако отличная история получилась. Кто бы мог подумать…

Они выпили.

– Теперь понятно, чего эти сюрмялинские патриоты переполошились.

– Именно. Я думаю, этот И. Гулиев обнаружил все это дело первым. Побежал и доложил Анару-лыжнику. Потому они и приперлись на нее поглядеть, а не из любопытства, как Паша предположил. Ведь скандал большой. Их-то уже сюрмялинским захоронением нарекли. Сюрмялинская принцесса и прочее. А принцесса, извиняюсь… шампунчик. Вот они и решили могилу то ли взорвать, то ли попалить.

– А чего к Шербету сразу не пошли? Объяснились бы.

– И что бы они ему сказали? Закапывай обратно? Шербет уже на весь мир к тому времени раструбил. Спецов вызвал. Там документальный фильм собирались делать.

– Да. Нагадили предки.

– Не говори! Хуже не придумаешь. Представляешь, если об этом станет известно – весь мир ржать будет! И армяне больше всего…

– Слушай, а об этом я даже не подумал. Ну и что было дальше-то?

– Дальше все просто. Я позвонил в гостиницу. Они довольно быстро меня нашли, рассказал все Шербету. Он по первости стал кипятиться, что я в могилу без разрешения полез. Потом пришел в себя. Понял, идиот, чем дело пахнет. За такие находки, дорогой, никто по головке не погладит. Престиж страны в унитаз, понимаешь, и все из-за какого-то древнего педераста. Обидно.

– Гостиница Шербета точно стала бы центром гей-туризма…

– Еще бы.

– И чем все закончилось-то?

– Шербет уже на следующий день помчался в Баку, с кем-то чего-то перетер. Чуть ли не на самом высоком уровне. Не сам, конечно, а через-через – и все, решили объект законсервировать, пока не придумают, что с этим безобразием делать дальше. Через пару дней все залили бетоном, как чернобыльскую станцию саркофагом. Токсичность, между прочим, приблизительно та же.

– А немец? А международная общественность?

– Ты что, за новостями не следишь? Не слышал про землетрясение? А? Небольшое такое, вроде никто даже и не заметил. А зря. Могилу, само собой, удачно завалило. С концами. Кончилась находка века. В новостях показали какой-то котлован, какую-то провалившуюся деревенскую крышу. И все дела. А, нет – были еще комментарии из Академии и Музея истории. Качали головами, но все закончилось на оптимистической ноте. Типа, жила бы страна родная, еще и не такое раскопаем. А потом показали репортаж с фестиваля долмы. Все счастливы.

– Зря я местные каналы не смотрю.

– Упускаешь много любопытного.

– Серьезно, что они на самом деле думают делать со всем этим?

– Не знаю, Мурадов. Я человек маленький. Пенсионер. Да еще и нога сломана. Пока решают. Им виднее. Говорят, обсуждают несколько вариантов. Это мне Шербет нашептал. Уж не знаю, чего это он вдруг так проникся ко мне…Один вариант – избавиться от «принцессы». Дядьку оставить, а подружку его закатать в какой-нибудь спецхолодильник в каком-нибудь подвале нацбезопасности, опечатать и забыть. Я тебя уверяю, в этих холодильниках, если покопаться как следует, еще покруче вещи найдутся. А что, тысячу лет лежал себе этот гражданин на горе, пусть еще полежит до лучших времен. Есть другой вариант: избавиться от обоих. Типа, оба хороши, и нечего с ними возиться. У них, понимаешь, любовь, прости, господи, а у нас менталитет.

– Да, проблемка, – ухмыльнулся доктор. – Жил бы в наше время, пошел бы в певцы.

– Точно. Но ему, видать, и так было неплохо. Честно говоря, если бы меня спросили, я бы посоветовал: надо оставить их там, где лежат. Закатали в бетон – и ладно. Пусть покоятся дальше. И с менталитетом проблем не будет.

– А наука?

– Мурадов, какая, на фиг, наука? Ну, выволокли бы их оттуда. Отвезли бы в какой-нибудь музей. Написали шестьсот диссертаций. И что? Ходили бы какие-нибудь арабские туристы смотреть на них под стеклом, снимали бы селфи. Это, что ли, наука?..

Декабрь начался дождями, ветром и неожиданным поворотом в история с Сюрмялинской принцессой.

Несмотря на строжайшую тайну, кто-то все-таки проговорился (Мирза Халил не без основания подозревал академиков, особенно молчаливого). Некий блогер, обвинив власти в сокрытии фактов и безобразно спекулируя на всей этой истории, затеял петицию с требованием легализации гей-браков. В своем обращении он более-менее стройно, а главное, детально излагал историю с находкой в Сюрмяли, что явно указывало на утечку из самого первого круга посвященных.

Дошло до того, страшное дело сказать, что несколько таких же, как и он сам, отщепенцев попытались устроить флэш-моб на Площади Фонтанов!

Мирза Халил оказался прав: вскоре следствие по делу о «несанкционированном митинге, нарушении общественного порядка и распространении клеветнических слухов, искажающих историческую правду о прошлом нашего народа» установило, мягко говоря, двусмысленную связь между молчаливым академиком и арестованным блогером.

В конце второй недели декабря с утра должен был подойти мастер: сменить спираль накаливания в колонке и разобраться с краном на кухне. Вроде бы, договорились на половину десятого, но в дверь позвонили в восемь, как раз в тот момент, когда Мирза Халил только собрался вылить взбитые с нашинкованным зеленым луком яйца на сковородку. Отложив чугунную сковороду в сторону, он подхватил стоявшую в углу трость и заковылял к двери.

– Кто там? – громко спросил он с середины коридора. Ответа не последовало, но ему показалось, что он услышал удаляющиеся шаги.

– Кто там? – повторил Мирза Халил, уже подойдя к двери и прильнув к глазку: лестничная площадка выглядела пустой. По крайней мере, никого не было видно. Постояв немного, он отодвинул щеколду. Он не сразу заметил на пороге оставленную кем-то поллитровую банку каких-то солений. Не выпуская из руки трость, он, кряхтя, наклонился и подхватил банку свободной рукой. На самодельной этикетке было выведено черным фломастером: Денизли, июль, 2011 г.

– Денизли?

Он повернул банку в руке и, чтобы разглядеть ее содержимое, приблизил ее к глазам: в светло-зеленом маринаде среди звездочек аниса, черного перца и зубчиков чеснока плавал массивный человеческий… нос! Он едва не выронил банку из рук и с отвращением поставил ее на коридорную тумбочку.

Похоже, что нос был женский, пористый, с темными ноздрями, внутри которых можно было даже разглядеть волоски. Судя по разрывам кожи, свисающей с задней стороны носа белыми волокнами, он был то ли оторван каким-то образом, то ли откушен.

– Мерзость! – возмутился Мирза Халил и тут, сообразив, торопливо, насколько позволяла нога, заковылял в гостиную. Добравшись до окна, он стал разглядывать выход из подъезда. И, кажется, вовремя: из двери выходил невысокий человек в твидовой кепке. Не глядя по сторонам, он сел в ожидающий его черный внедорожник. Машина тяжело съехала с тротуара и покатилась к выходу со двора.

– Вот же мерзавец какой! Людоед поганый! – выругался Мирза Халил и со злостью хлопнул тростью по спинке дивана. Вверх взметнулся и повис фонтанчик пыли. Его переполняло возмущение. Он стал хромать обратно в сторону коридора, где оставил банку с омерзительным носом, и тут вдруг вспомнил, что записывал телефонный номер людоеда.

– Ага! Подожди, подожди!.. – сказал он сам себе, выхватывая из кармана треников мобильный телефон. – Где ты у меня тут… так… на «и» … так…, сейчас, так… Игбал – вот! Куда ты от меня денешься!

Он набрал номер.

– Вас приветствует салон красоты «Бонжур Мадам» … – ответил вкрадчивый голос.

– Але!.. Игбал! Але!..

– … «Бонжур Мадам» официальный дистрибьютер «Герлен» в Азербайджане. Наши мастера ждут вас ежедневно с десяти ноль-ноль до двадцати двух ноль-ноль по адресу…

– Але! – продолжал рычать в трубку Мирза Халил, пока не сообразил, наконец, что имеет дело с автоответчиком. Он дал отбой, набрал номер снова, и снова прослушал сообщение. Либо он перепутал цифры, записывая номер, либо…

Нацепив очки, он вернулся к банке с маринованным носом. Последний раз в Денизли Мирза Халил был лет этак двадцать тому назад. Может, даже и раньше. Скорее всего, раньше. Никаких знакомых или родственников, живущих в Денизли, он не помнил, хотя для полной уверенности следовало бы позвонить сестре Саре, которая обычно была в курсе всех семейных новостей, даже если речь шла о самых дальних родственниках. И уж совершенно точно он не мог припомнить ничего, хоть как-то связанного с чьим-то носом, не считая безумной выходки самого Игбала.

Принявшись брезгливо рассматривать содержимое банки с разных сторон, Мирза Халил все еще надеялся, что нос, может, и ненастоящий, силиконовый, например, или еще что-то в этом роде, и что все это просто идиотская шутка, но чем дольше он разглядывал его, тем очевиднее становилось, что он, увы, самый, что ни на есть, настоящий.

– Чтоб тебе провалиться…

К приходу мастера он убрал банку на балконные антресоли: поставил на верхнюю полку за пустыми баллонами. Еще и укутал в старое чайное полотенце.

День был будний, но, несмотря на это, в «Second Cup» на первом этаже, как и в прошлый раз, стояла внушительная очередь. Вкусно, по-иностранному, пахло свежим кофе. После скучных зимних улиц яркое фойе Торгового Центра, как всегда, напоминало о другой, удобной и успешной жизни. Хромая к эскалатору, Мирза Халил невольно глянул в сторону турецкого ресторанчика: знакомый уже бородатый зазывала был на посту.

Магазин назывался «Ле Шато». В памяти застряли горящие золотистые буквы прописью на каком-то очень темном, как будто бы даже черном фоне. Однако после неудачи с телефонным номером ни в чем нельзя было быть уверенным. Эскалатор почти бесшумно вынес его на второй этаж, где, не задумываясь, он повернул направо и, маневрируя, насколько позволяли нога и трость, торопливо заковылял в потоке зевак, медленно плывущих вдоль витрин, залепленных кричащими процентами скидок.

«Ле Шато» оказался на углу: между женским бельем и проходом в туалеты. С первого взгляда было понятно, что магазин недорогой, но с претензией.

– Послушай, дочка! – подозвал Мирза Халил невысокую смуглую девушку, – судя по петличному радиомикрофону на поясе и озабоченному виду, с которым она раскладывала по полкам одежду, это была продавщица. Девица нехотя обернулась и, активно хлопая накладными ресницами, критически оценила Мирзу Халила.

– Слушаю? – сказала она, продолжая раскладывать вещи.

– Ты же здесь работаешь?

– Да.

– Я ищу хозяина. Хозяина магазина…

– Менеджера ищите? Гурбан-муаллима?

– Гурбан-муаллима?

Девушка скорчила гримасу:

– Менеджер, да, наш. А вы кто?.. Гурбан-муаллим, – окликнула она стоявшего к ним спиной высокого мужчину в темном пиджаке. – Гурбан-муаллим, тут вас, э, спрашивают…

Нос Гурбан-муаллима из-за широких, мясистых крыльев и массивной переносицы выглядел каким-то чужеродным наростом. Особенно в сравнении с гладко выбритыми щеками и подбородком. Он был не только большой, но и уродливый, с темными капиллярами по бокам, глубокими порами и вьющейся из ноздрей грубой щетиной.

– Что хочет аксакал? – спросил он девицу, неприязненно глядя на Мирзу Халила.

– Не знаю, – пожала она плечами. – Сказал, с вами хочет поговорить.

Мирза Халил едва сдерживался от распирающего его негодования.

– Аксакал, тебе что нужно?

Само собой разумеется, что Игбала он не опознал. Ни по описанию, ни по фотографии в мобильном. После чего разговор их иссяк довольно быстро: в какой-то момент бесцеремонно прервав Мирзу Халила на полуслове, менеджер бросился помогать кому-то из покупателей.

Хромая прочь к эскалатору, Мирза Халил, смакуя, мысленно представил себе огромный нос управляющего в банке с маринадом среди чеснока и перца.

Прежде чем выйти из мола, он не преминул заглянуть в магазин обуви, где ему в прошлый раз втюхали китайские полусапожки. Скандала не вышло. Очевидно, что ортопедический сапог и хромота произвели какое-то впечатление. Ему предложили дисконтную карту постоянного покупателя и разовую пятидесятипроцентную скидку на любую пару обуви в магазине. Ничего, однако, не купив, он отправился домой на такси, заглянув по дороге в супермаркет «Сябят» возле метро, где взял немного яблок, творога и две бутылки темного пива. Дома у него еще оставались два нетронутых многообещающих норвежских детектива с серийными убийцами в анонсах.

Поднимался он на четвертый этаж долго, с остановками. Запыхался. Из головы все не шел наглый менеджер с его ужасающим носом. Стоило бы, наверное, его предупредить о людоеде, о его, мягко говоря, вкусовых предпочтениях, а с другой стороны…

Уже добравшись, наконец, до своего этажа, он бросил опасливый взгляд на соседнюю дверь, вот-вот ожидая лязга дверной задвижки и, как следствие, появления в дверном проеме соседки в каком-нибудь очередном безумном розово-фиолетовом халатике, надетом поверх просвечивающего пеньюара. Но соседки, по счастью, видимо, не было дома.

Нужно было срочно и как-нибудь половчее избавиться от проклятой банки с носом.

Он достал ключи, с силой потянув на себя ручку, стал отпирать замки. И только когда толкнул дверь, заметил, как что-то рыжее мягко проскочило у него между ног в коридор.

– Пошел! – возмущенно сказал Мирза Халил. Котенок мяукнул, показав розовый язык. В холодильнике, вроде бы, еще должно было оставаться полпакета молока.

ЭЛИНА МАХМУДОВА

Пипл-фри

Просто встану, пока темно,
Просто выброшу телефон.
Кто-то скажет: «Социопат!»,
Ну, а я промолчу, кто – он.

Просто улицы и дома,
Просто листья и фонари...
Что ж, пусть будет моя вина,
Что я счастлива пипл-фри.

Очень все не так

Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята.

В.Высоцкий

Слишком много города,
Пластика и лакшери,
Урбана и скорости,
Чуши в головах.

Слишком много гордости,
Прибыли и фальши,
Реклама – вместо совести,
Стразы на сердцах.

Дешевеют ценности,
Дорожают ценники...
Все не так, короче,
Очень все не так.

А если?..

А если надеть красное
И всем показать кукиш?!
Кто там за спиной шамкает,
Сплетнями изойдя?

А если взмахнуть крыльями
И взмыть – ото всех подальше,
И там жить в своем бунгало
Из облачной тишины?..

Фастер

Век фаст-фуда,
Век фаст-жизни,
Не успеешь,
Коль – не «фаст».

Роды – офис,
Бургер – внуки…
Фастер, фастер! –
Жизнь не ждет.

Фаст-любови,
Фаст-открытья,
Фаст-поэмы,
Люди-фаст…

К черту скорость!
Остановка.
Тишина…
Бог.

Простая игра

Все всегда только к лучшему,
да вот пути извилисты,
на старте непредсказуемо,
ты в ад или все же в рай.

Но Богу так интереснее
играть в оловянных солдатиков:
пусть хоть немного интриги –
ведь слишком проста игра.

Теория относительности

Все очень относительно,
И все – неутешительно…

Нет в жизни победителей,
Кумиров и властителей –
Всех ожидает сумрачный,
Единственный финал.

Но нет и побежденных в ней,
Живой, а значит – избранный,
Ведь жизнь – как кубок золота –
Награда не для всех.

Так не грусти, а радуйся,
Держи покрепче кубок свой,
Пей из него шампанское
И будь здоров, Эйнштейн!

Глупые сценарии

Сценарии, сценарии
Мы пишем на бегу.
Пиши, не останавливай
Событий череду.

Мы, авторы и клоуны
Сей глупой кутерьмы,
В одном лишь застрахованы –
Что здесь не вечны мы.

Послушай тишину

Послушай тишину.
Ее слова – целебны.
Ее слова не лгут
И лестью не пестрят.

Послушай тишину.
Святой ее молебен
Внимай не на бегу,
Без призм и без преград.

Взгляни в ее глаза
И отразись в безмолвьи,
Увидь все, что забыл,
Или хотел забыть,

Что забывать нельзя,
Хоть на минуту вспомни,
Пойми, куда идешь,
И нужно ли там быть.

Спроси у тишины,
Задай свои вопросы –
Зачем, доколь и где
Предельная черта.

Спроси и – уходи,
Босой и просветленный,
Хоть даже если ты
Не понял ни черта.

ТАИРА ДЖАФАРОВА

ЗАГАДКА СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ

Наша семья дружила с семьей выдающегося скульптора Токая Мамедова. Прежде всего, с женской половиной семьи: с женой Токая Аидой Абдуллаевой, с ее сестрой Хаят, которую у нас дома называли Эличкой, с их мамой Суват-ханым, но и, конечно, с сыном Джахангиром или Джаником, как его называли близкие. О них есть, что рассказать. Суват-ханым была внучкой знаменитого генерал-лейтенанта Араблинского. Старшая из трех дочерей генерала, Нурджахан-ханым, стала женой сына Тагиева, младшая, Сона-ханым, стала женой самого Тагиева, а средняя, Хуриятханым, женой князя Абдул Джамиля Уцмиева. Одной из пятерых дочерей Хурият и была Суват-ханым. Судьба у Суват-ханым сложилась непросто и могла бы стать сюжетом увлекательного романа, несмотря на всю ее трагичность. Она, как и мои тетушки, окончила заведение Святой Нины и в шестнадцать лет стала женой Гамдуллы Абдуллаева, крупного рыботорговца. Во времена АДР он возглавил «Азрыбу», а в советское время руководил управлением «Дагрыбтрест», работал над книгой о рыбной отрасли. Властям требовались специалисты. Двое их сыновей, Адыль и Амир, в 1926 году за государственный счет были направлены на учебу в Германию. Все складывалось, вроде бы, хорошо, но в стране начались репрессии, бессудные расправы. В 1930-м Абдуллаева расстреляли, сыновья остались за границей, связь с ними прервалась. Суват-ханым, благодаря поддержке Узеира Гаджибейли, работала в симфоническом оркестре, она была способной скрипачкой. Но в начале войны их, как семью расстрелянного врага народа, выслали в Северный Казахстан, в глухую степную деревеньку. Выбрались они оттуда с большим трудом.

Старшей дочери, Хаят, удалось поступить в эвакуированный из Ленинграда Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, находившийся в Самарканде.

Аида еще до войны по рекомендации Узеир-бека стала студенткой Московской консерватории, а теперь получила от него вызов для продолжения учебы в Бакинской консерватории.

Юсифа, как дипломированного нефтяника, пригласили в Коканд.

А их мать, не желая связывать детей, мешать их планам, тайком села в поезд, решив пробираться в Баку, но при первой же проверке с поезда ее ссадили. После всевозможных злоключений семья все же соединилась и попала в Баку. У них ничего не осталось, все имущество конфисковали, а главное – жить было негде. Но мир не без добрых людей, друзья приютили их, помогли. А Суват-ханум, благодаря помощи того же Узеир-бека, сумела устроиться заведующей библиотекой в Бакинскую консерваторию. Дети ее тоже оказались не только стойкими, но и талантливыми, и. несмотря на все трудности, нашли свое призвание, свой путь.

После окончания института Хаят стала известным скульптором, заслуженным деятелем искусств Азербайджана. У нее много интересных работ. Например, в Баку. на фронтоне здания Национальной библиотеки им. М.Ф. Ахундова, можно увидеть ее скульптуру Максима Горького, в Оперном театре – скульптуру Физули. В Шуше она

создала памятник Вагифу и поэтессе Натаван. В Азербайджанском музее искусств хранятся такие ее работы, как «Материнство», «Хаджар»…

В последние годы жизни, а она прожила 94 года, Хаят-ханым стала слепнуть и появлялась у нас в темных очках. Но всегда была веселой, жизнерадостной оптимисткой, очень доброй, и каждый раз подбадривала меня, заряжала энергией. Я ее любила и тоже называла Эличкой, несмотря на большую разницу в возрасте!

Аида-ханым Абдуллаева стала первой азербайджанской арфисткой, заслуженной артисткой Азербайджана, профессором, основателем местной школы арфы. Но у матери болело сердце о старших сыновьях, оставшихся в Германии. Она не знала, что во времена Гитлера они перебрались в Турцию, где учились и работали. А после войны вернулись в Германию, получили образование и добились достойного положения в обществе.

Во времена хрущевской оттепели, после того, как реабилитировали ее мужа, Суват-ханым стала разыскивать сыновей через Красный Крест, нашла их, поехала в Германию. Потом они приезжали в Баку, встречались с сестрами. Наш дядя Джафар, известный германист, всегда был переводчиком при этих встречах. Присутствовала и подруга Суват-ханым, наша тетя Тамара. Адыль и Амир привязались к дяде Джафару, а также к моим тетушкам, в особенности к старшей – Марьям-ханым, энергетику, заведующей лабораторией. Адыль был крупным энергетиком, доктором наук, директором Института электрических турбин в Брауншвайге, и это их очень объединяло. Братья прислали моему дяде Джафару приглашение посетить Германию. Но кэгэбисты не пустили старика за рубеж, посетить город своей молодости Берлин, где он учился в Коммерческом Институте. Братья также прислали приглашение тете Марьям, причем по служебной линии, чем, я помню, она очень гордилась. Но, увы, и ей не разрешили поехать.

Тетя Тамара после работы, а работала она до конца жизни в министерстве просвещения, частенько навещала Суват-ханым. Они обычно по вечерам вдохновенно играли в нарды, при этом наша тетя, по словам Джаника, джигалила (по-русски это значит – жульничать). Он часто слышал, как во время их игры его бабушка возмущалась: «Опять ты джигалишь? Джигалбас!» А Тамара-ханым, смеясь, отчаянно защищалась.

Большая дружба связывала с Суват-ханым и моего дядю Джафара, я помню, в конце 50-х и в 60-е годы он часто бывал у нее в консерваторской библиотеке, так как глубоко интересовался итальянской оперой. Это было главным его увлечением. В библиотеке его интересовали и партитуры опер, и литература о певцах. А Суват-ханым вместе с дочерьми появлялись и в нашем доме, приходили послушать пластинки дяди Джафара, и, как мне помнится, прослушивание своих оперных записей дядя устраивал и в консерватории.

Работая над книгой о своей семье, изучая документы в архиве, я обнаружила, что со стороны Суват-ханым мы являемся родственниками. Она родственница Зейналабдина Тагиева, и наша семья также. Семьи, по-видимому, близко общались еще до революции, в лучшие для наших родственников времена. Но, к сожалению, от детей в те непростые годы скрывались родственные связи. И когда я недавно встретила Джахангир-муаллима, он рассказал, что любил дядю Джафара и тетю Тамару и напомнил мне, что участвовал в похоронах их обоих. Это были наши общие потери.

Мама Джахангира, Аида-ханым прожила долгую, счастливую жизнь. Ее муж, Токай Мамедов, был не только выдающимся скульптором, но и ярким, благородным

человеком. Я стала интересоваться его корнями, родословной и тут удалось сделать потрясающее, по крайней мере, для меня, открытие. Я узнала историю фотографии тети Тамары, на которой она стоит на балконе дома на Торговой, того, в котором находилась знаменитая «Немецкая кондитерская». Дом этот принадлежал семье матери Токая Мамедова, как рассказал мне Фуад Ахундов, миллионерам братьям Тагиевым. Я не догадывалась только, как она могла там очутиться, кем ей приходились хозяева дома. Оказалось, что миллионер Нуржахангулу Тагиев был дедушкой Токая Мамедова, а мама Токая Зивяр-ханым, первая женщина скульптор Азербайджана, приходилась дочкой Нурджаханугулу. Токай Мамедов в своих воспоминаниях рассказывал о своей маме: «Ее детство прошло в окружении гувернанток, многочисленных педагогов по музыке, языкам и рисованию. После революции мой дед, конечно же, все потерял, а мама с ранней молодости была вынуждена все время работать, чтобы выжить в то сложное время». И в те непростые времена – это был конец 20-х и 30-е годы – наша Тамара-ханым приходила в этот красивый, архитектурно выразительный дом на Торговой навещать родственников.

Известно, что еще и отец Зивяр-ханым увлекался скульптурой, поэтому понятно, что именно его способности передались дочери. Он поддерживал ее увлечение, всячески помогал в желании стать скульптором, что тогда для женщины было совсем непросто. Так что Токай Мамедов совсем не случайно стал выдающимся скульптором, это присутствовало у него в генах.

Кроме того, что она была скульптором, она была и талантливой музыкантшей. Сын рассказывал: «*Когда она была совсем еще юной девушкой, она брала уроки по классу скрипки. С того времени музыка на долгие годы стала важной частью ее жизни, ведь именно благодаря музыке она познакомилась с Узеиром Гаджибейли и даже была первой скрипкой в оркестре, которым он дирижировал*». Этот рассказ объясняет то особенное чувство, которое вложил скульптор в его памятник, и почему таким почитаемым в семье Абдуллаевых был гениальный композитор Узеирбек Гаджибейли. И недаром его бюст работы Зивяр-ханым долгое время стоял в вестибюле нашей Консерватории, а памятник Узеирбеку, стоящий перед ее зданием теперь, изваянный ее сыном Токаем, считается его самой лучшей работой. Задумчиво и в тоже время торжественно сидящий композитор, его величественная фигура из бронзы на строгом постаменте, простой и выразительный жест руки, оставляют глубокое впечатление. Скульптор любил изображать творческих людей, музыкантов, поэтов, мыслителей. За свою долгую, наполненную вдохновением жизнь Токай Мамедов создал целую галерею выдающихся личностей Азербайджана: композитора Хаяма Мирзазаде, поэтов Самеда Вургуна и Сулеймана Рустама, писателя Мирзы Ибрагимова, художника Лятифа Керимова, востоковеда Мирзы Кязимбека и еще многих других. А свою любовь к музыке, полученную, как и дар скульптора, от матери, он выразил в таких работах, как бюсты Моцарта и Шопена.

Так что у меня остались самые светлые воспоминания об этой удивительной, творческой, полной художественной энергии и любви к родине семье нашего знаменитого скульптора Токая Мамедова.

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

ПИЦЦА И БЕТХОВЕН

Рассказ

12 – 14 января этого года в Нью-Йорке (США) прошел кинофестиваль «Bronx World Cinema». Азербайджан был представлен на нем короткометражным фильмом «Eliza» («Элиза»), снятым на студии «Debut» молодым режиссером Мезаиром Гашимовым (художественный руководитель картины – народный артист Азербайджана Эльдар Кулиев). Оператор фильма – Юрий Варновский, ассистент режиссера – Джабир Гаджиев, монтажер – Эльшан Багиров. Роли в фильме исполняют Дениз Таджаддин, Тогрул Рза и Хиджран Насирова. Автор сценария – Елена Андреева, известная азербайджанская поэтесса и прозаик. Сценарий написан по ее же новелле «Пицца и Бетховен». Добавим, что фильм «Eliza» был также представлен на Международном молодежном фестивале короткометражного кино «Новый горизонт» в Воронеже (Россия) в апреле этого года; также фильм был представлен на Турецком фестивале «Avvalik» и международном фестивале «Видение» в Кемерове и, кроме того, попал в конкурсную программу ежегодного кинофестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».

Мы поздравляем постоянного автора журнала «Литературный Азербайджан» Елену Андрееву с успехом в кино и желаем ей новых творческих достижений!

Предлагаем вашему вниманию рассказ, послуживший основой для сценария.

Кто бы это мог быть?.. Тамилла так удобно улеглась на диване с романом в руках, при этом она еще и поставила диск со своим любимым Бетховеном (она была из тех натур, которые на дух не переносят попсу)... А тут вдруг этот неожиданный звонок в дверь! Тамилла нехотя поднялась с дивана, отложила книгу, подошла к двери и посмотрела в «глазок». За дверью стоял молодой человек в униформе и в бейсболке с какой-то надписью. «Опять какую-нибудь рекламу разносят», – подумала Тамилла, а вслух произнесла:

– Вам кого?

– Вас, – коротко и просто ответил парень.

– Может, вы еще и знаете, как меня зовут? – возмутилась Тамилла.

– А это нетрудно проверить, – парень полез в карман форменной куртки, вынул какую-то бумажку и прочел ее адрес и ее имя. И то, и другое совпадало.

Тамилла осторожно приоткрыла дверь.

– Пиццу заказывали? – парень выставил перед собой картонную квадратную коробку.

– Какую еще пиццу? – удивилась Тамилла. – Нет, не заказывала. Я вообще-то на диете.

– С сыром, грибами и оливками, – уточнил парень.

– С сыром, грибами и оливками, – повторила, как эхо, Тамилла и непроизвольно облизнулась. – Здесь какая-то чудовищная ошибка! – спохватилась она.

– В чем заключается ошибка? – не понял парень.

– Грибы в сочетании с оливками.

– Согласен, слишком приторно. Но оливки можно выковырять и потом съесть отдельно.

– Вы что, разыгрываете меня? – смутилась девушка. – Правда, я никакой пиццы не заказывала. Это ошибка.

Парень еще раз перечитал бумажку. Никакой ошибки не было: и адрес, и имя совпадали.

– А знаете что?.. – с таинственным видом сказала Тамилла.

– Что? – спросил парень, непроизвольно понижая голос до шепота.

– Съешьте эту пиццу сами, за мое здоровье!

– Охотно, – вздохнул парень. – А то целыми днями бегаю, поесть толком некогда.

– Вот и отлично! – Тамилла изобразила радость и попыталась закрыть дверь.

– Э, постойте, а чай? – сказал парень, деликатно придержав дверь. – Вы же не хотите, чтобы я подавился пиццей и умер прямо у вас на пороге!

– Прямо на пороге – не хочу, – оторопело сказала девушка. – Но теперь я точно знаю, что от скромности вы не помрете...

Молодой человек счел эти слова за приглашение и вошел в прихожую. Снял бейсболку, снял туфли и в одних носках прошел на кухню, поставил коробку на столик. Тамилла, насупившись, следовала за ним.

– Наконец-то я дождался горячего чая, – с радостью сказал парень. – А то на улице с утра дождик все моросит и моросит, и на душе как-то тоскливо...

Тамилла молча зажгла конфорку и поставила на огонь чайник, вынула из шкафа большую чашку с нарисованными на ней бабочками. А разносчик взял ломоть пиццы и откусил от нее большой кусок.

– Неблагодарная у меня работа, – сообщил он, усердно жуя. – И чая никто не предложит. Кроме вас вот...

Он болтал, жадно поглощая пиццу, а Тамилла думала о том, кому понадобилось сделать ей такой сомнительный сюрприз. Она жила с теткой, и тетке было хорошо известно, что племянница вот уже неделю питается одними лишь овощными салатами и йогуртом. Еще у Тамилы были три подружки, но ни одна из них не способна даже додуматься до того, чтобы накормить ее такими деликатесами, как грибы, маслины, да еще и сыр...

– Скучная у меня работенка, – пожаловался разносчик, уплетая очередной кусок.

– Развлекать я вас не собираюсь, – отрезала Тамилла. – И потом, хватит уже есть на моих глазах! Оставьте мне хотя бы кусочек моей же пиццы!

– Пожалуйста, – спохватился парень. – Пожалуйста... Но вы же сами сказали, что на диете...

Тамилла решительно положила в рот последний кусок пиццы, отхлебнула горячего чая из чашки, приготовленной для разносчика и зажмурилась от удовольствия.

– А можно вас кое о чем попросить? – робко произнес молодой человек.

– Еще чаю? – ядовито предположила Тамилла.

– Это само собой, но я о другом... Я заметил, у вас в гостиной стоит рояль... Судя по вашим очень музыкальным пальцам, вы должны неплохо на нем играть.

– Вы очень наблюдательны, – холодно сказала девушка.

– Что делать, у меня такая работа...

– Вы же ее только что ругали!

– В самом деле? Ну, это я был голоден, я всегда недоволен работой, если вовремя не поем...

– А как поедите вовремя – всегда просите сыграть вам на рояле, да?

Тамилла была настроена выпроводить нахала, не собиравшегося добровольно покидать чужой дом и даже не назвавшего своего имени. А ведь скоро должна вернуться с работы тетка. Что она обо всем этом подумает?

– Знаете, я давно не слышал живого звука рояля, – признался парень. – С тех пор, как ушел из ресторана.

– Наверное, вы были там классным официантом? – съязвила девушка.

– Нет, – серьезно ответил он. – Я был там классным тапером.

– Что вы говорите! – воскликнула Тамилла. – В таком случае, попрошу за рояль вас!

Парень не заставил себя упрашивать. Он прошел в гостиную, уверенно сел на круглый вращающийся табурет. Слегка помедлил и положил пальцы на клавиши. В его исполнении прозвучала вначале легендарная «Мурка», затем последовал плавный переход к озорной песенке «Чип-чип, джуджялярим», и вдруг, что немало поразило Тамиллу, парень заиграл «К Элизе» Бетховена, причем исполнил мелодию весьма грамотно!

– Уже познакомились? – на пороге комнаты стояла лукаво улыбающаяся тетка.

Парень перестал играть, поднялся и протянул Тамилле руку.

– Фуад, – представился он.

– Сабина, – машинально ответила девушка.

– Ну, не буду вам мешать, – сказала тетка и вышла из комнаты. Тамилла бросилась за ней.

– Так это что же – твоих рук дело? – шепотом спросила Тамилла, когда они обе оказались на кухне.

– Да, – честно призналась тетка. – Надо же тебя как-то замуж выдавать! А то сидишь целыми днями дома в обнимку с книгой и слушаешь классику. А жизнь-то проходит!

– Все равно так нечестно! – возмутилась Тамилла.

– Не нам с тобой решать, что на этой земле честно, а что – нечестно, – философски заметила тетка, укладывая в холодильник принесенные продукты.

– Девочки, я пошел! – в дверях появился Фуад. Он уже успел надеть туфли и бейсболку. – У меня еще заказы на этот вечер. Пока!

Наутро Тамилла проснулась с горьким, неизвестным ей до этого чувством одиночества. А за окном уже не моросило – там хлестал настоящий осенний ливень. Тамилла заставила себя проглотить несколько ложек йогурта и отхлебнула несладкого кофе. И тут взгляд ее упал на мусорное ведро, из которого торчал угол картонной коробки. «Пицца! – вспомнила она. – Там непременно должен быть номер телефона!» Тамилла не ошиблась.

– Ресторан «Чипполино», – сказали в трубке.

– Мне, пожалуйста, Бетховена, – сбивчиво заговорила девушка. – Ой... то есть, мне, конечно же, пиццу... С грибами и оливками... И Фуада, ну, бывшего пианиста...

В трубке некрасиво хохотнули:

– Нет у нас никакого Фуада, а тем более бывших пианистов!

– Я так и знала, – упавшим голосом сказала Тамилла в отбойные гудки.

И тотчас же, словно гром небесный, грянул дверной звонок. Тамилла подлетела к двери, и первое, что она увидела в «глазок» – это огромный букет белых роз...

Тофик АГАЕВ – 85

Весь смысл в том, чтобы домысливать.

Тофик Агаев – поэт, драматург, афорист, переводчик – родился в 1933 году в Баку. По образованию – филолог. Долгое время жил и работал на Крайнем Севере корреспондентом газеты «Красное знамя». Известен как автор детских стихов. Печатался во всеми любимых московских журналах «Миша», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Колобок» и других детских изданиях. Автор более тридцати книг для детей и взрослых, изданных в Сыктывкаре, Москве и Баку, сценариев мультфильмов, пьес для кукольного театра. Наиболее популярна в Азербайджане его пьеса «Храбрый Ахмед», которая уже много лет – и по сей день – идет в Бакинском кукольном театре. Ряд его стихотворений включен в школьные учебники.

Работал также в бакинских СМИ, в частности, в газете «Вышка». Постоянный автор журнала СП Азербайджана «Литературный Азербайджан» и газеты «Мир литературы». Публикуется также в московских журналах «Арион» и «Дети Ра». Является членом Союза писателей Азербайджана и Союза журналистов Азербайджана, почетным членом Бакинского Книжного Клуба. В последние годы активно работает в жанре хокку и афоризмов, которых на его счету более тысячи. Большинство из них вошли в книги, в которых автор выступает под псевдонимом Тофа, ТофАг, Тофен, А.Тоф.

Многие читатели являются большими поклонниками Тофика Агаева как афориста. Жанр афоризма – достаточно сложен и доступен не каждому. Афоризм – сконцентрированная мысль, краткое, но емкое высказывание по тому или иному поводу, порой ироничное, порой глубоко философское, но всегда представляющее собой плод «игры ума». Высказывание, в котором порой больше смысла, чем в ином «полномасштабном» произведении. Вот несколько наиболее запомнившихся мне «агаевских» афоризмов: «Свобода – это вид сквозь прутья клетки», «Стоит ли ломать голову без мозгов», «Гениальная глупость – дело умных», «Весь смысл в том, чтобы домысливать». Краткостью и емкостью отличаются и хокку, которые столь виртуозно слагает Тофик Агаев – жанр, который как раз и позволяет (и – требует) «домысливания» мысли, высказанной автором. Тофик Агаев – автор 8 сборников произведений, написанных в жанре хокку. Его работы в этом жанре вошли в антологию русского трёхстишия «Сквозь тишину», изданную в Санкт-Петербурге.

От себя лично могу сказать, что Тофик Агаев – человек вечно молодой, любящий жизнь и людей во всех их проявлениях, мудрый и доброжелательный, которому все интересно и любопытно. А возраст – это только цифры. Что за ними стоит – зависит от каждого из нас.

Тофик Агаев – прекрасный шахматист, до сих пор успешно участвующий в шахматных турнирах, заядлый рыбак, замечательный велосипедист (поездка к морю от Губернаторского сада до пляжа Шихово в 85 лет – а такие «велопробеги» он совершает регулярно – это о чем-то говорит!) А еще он известный бакинский «морж» – купается в Каспии в любую погоду с марта по октябрь!

От имени всей редакции «Литературного Азербайджана» желаю Тофику Агаеву как можно дольше оставаться «на плаву» – и в литературе, и на Каспии, не изменять всем своим хобби и – хокку. А главное – не изменять себе и своим – замечательно верным! – пониманию и отношению к жизни. А мы все, любящие вас, будем с нетерпением ждать ваших новых произведений и – вашего следующего юбилея.

Елизавета КАСУМОВА

ТОФИК АГАЕВ

Время звездами звенит

***

Чуден полет по бумаге пера,
Если из ангельского оно крыла.

***

Пока не потянула жизнь ко дну,
Вырасти мысль, хотя бы одну.

***

Познай, стоя на суше,
Вечность воды текущей.

***

Пустая днем, волна
Звездами ночью полна.

***

Время, звездами звеня,
Впереди бежит меня.

***

Кто бы это подумать мог:
Человечество живет в долг.

***

Гром гремит и молния, –
Небесная симфония.

***

Человеческий сорняк
Прорастает так и сяк.

***

Верьте сказке, она сбудется:
Вернется ангел, не заблудится.

***

Читая стихи ночью иль днем,
Ищу поэзию с фонарем.

***

Не потерять бы рвенья,
Как в первый день творенья.

***

Вчера, сегодня иль сейчас,
Время не знает, который час.

***

Забила крыльями душа
И улетела, не спеша.

***

На миг бы остановиться,
Чтоб с сердцем договориться.

***

Падают звезды рядом,
Лови их хотя бы взглядом.

***

Ты маг или – раб
Книг и бумаг?

***

В самом начале есть конец,
Открылась истина наконец.

***

На небесном этаже
И погода эта же.

***

Можете копье мое утащить,
Но оставьте мне хотя бы щит.

***

Случится в жизни облом,
Скрываю слезы крылом.

***

Есть лодка, нет весел,
Все равно я весел.

***

Даже глядя в пустоту,
Сумей увидеть красоту.

***

Блаженный миг для творчества –
Тотальное одиночество.

***

Поэтический завет:
Запрягать стихами свет.

***

От суеты, от бремени
Уйти в начало времени.

***

Сердце любит, и ему
Все понятно по уму.

***

Со дня сотворения мира
Звучит поэзии лира.

***

Быть в плену свободы
Снова входит в моду.

***

Начнешь со звездою беседовать,
На жизнь не захочешь сетовать.

***

Больше сказать поэт чает,
Чем слово означает.

***

Все на свете нипочем,
Когда ангел за плечом.

***

Как небесное знамение,
Сердце – солнца повторение.

***

В этом быстротечном мире
Летят с пьедестала кумиры.

***

Пойманный чувства луч
Светом смысла могуч.

***

Даешь воды и хлеба
Птицам – атлантам неба.

***

Как малые ребята,
В голове мыслята.

***

Идут часы, им неймется,
Будущее крадется.

***

Как прекрасный город Рим,
Каждый миг неповтоРим.

ГАСАН-ОХОТНИК

Птицу взял Гасан
На мушку,
Оказалось –
Сбил лягушку.
Думал гостя
Угостить,
Потерял тот аппетит.
Взял лягушку
Наш Гасан,
Положил ее
В казан.
День варил,
Два варил,
Ел лягушку
И хвалил...
В пруд свалился –
Не заплакал,
Как лягушка
Он заквакал.

НА КОВРЕ СИДИТ ГЕРОЙ

На ковре сидит герой
С перевязанной рукой.

С перевязанной рукой
Он не ходит за водой.

Он не жнет, не сеет в поле,
И дрова никак не колет.

С перевязанной рукой
На ковре сидит герой.

Как на стол поставят плов –
Вот, вскочил, он есть готов!

ЧТО ЗА ДИВО?

Посадил в саду горох,
Сам поверить в то не мог:
Что за чудо, что за диво –
Поднялась до неба ива.
А на ветках всюду там
Вижу я, растет каштан!

ШИРИН МАНАФОВ

юмореска

Беленькая

На своем бакинском концерте 24 марта 1996 года Жванецкий много и с удовольствием рассказывал о колоритном одессите по фамилии Беленький.

Этот самый Беленький много и порой остро шутил с советской властью, за что имел приводы в милицию. Сейчас шутит в Америке.

У нас в Баку процветала целая плеяда Беленьких, которые давали молодежи великие мастер-классы и без всяких приводов в милицию. Профессор Ася Исааковна Беленькая, легенда медицинского института, вершина творчества местных Беленьких. Преподавала анатомию с сороковых по восьмидесятые годы. Студенты ее обожали, особенно после того, как у нее развилась тугоухость.

– Я прекрасно читаю по губам, – предупреждала она студентов на зачетах.

Опишу один из ее великолепных мастер-классов. В нашей группе учился некий индус, редкий, надо признать, болван. История эта произошла как раз тогда, когда Леонид Ильич Брежнев произнес свое ставшее знаменитым: «Уважаемая госпожа Индира Ханди».

Индус, вообще-то из Шри-Ланки, тогда Цейлона, никак не мог сдать зачет Беленькой. Трижды пытался. Асясяковна, как мы ее называли, трижды посылала студента в глубокий нокаут и довела беднягу до крайней степени отчаяния. Индус по имени Абдул Разак резко похудел, побледнел, дрожал при одном упоминании о четвертой попытке и, говорят, даже звонил в московское посольство своей страны. Декан нашего факультета сам лично просил за Абдула, утверждая, что все дело в слабом знании русского языка.

– Пусть отвечает на латыни, – парировала Асясяковна, – как все.

Декан утверждал, мол, он просит за Абдула по просьбе самого ректора института, Беленькая стояла намертво – студент безнадежно туп и надо отчислять.

Разговор происходил в кабинете Асясяковны и в присутствии нашей группы, потому что Асясяковна терпеть не могла и декана, и вообще всех, кто просит за студентов.

– Согласен, баран, – говорил декан. – Но это не наш баран. А баран дружественной нам страны с древними традициями. Индия мудра и быстро поставит этого кретина на место, он будет продавать в аптеке снотворное из сушеных ушей слона. Страна прекрасная, платит за своего болвана золотом, закройте глаза и напишите «зачтено». Мы никогда не узнаем, что он там со своими больными вытворяет.

– Авторитет нашего института пострадает, – отвечала непреклонная Асясяковна.

– Тоже резонно, – отвечал декан, причем, не лукавя.

Во времена застоя предприятия и институты боролись за переходящие знамена

и кубки, и декан не лицемерил.

– Я искренне восхищаюсь стойкостью Аси Исааковны, – обращается декан к студентам. – Но на меня давят сверху, сбоку, отовсюду. Звонили из Москвы. Ну, хоть что-то он должен знать?

– У студента Хамрашипура, – говорит наша староста Ульвия, – большой интерес к процессу деторождения. Мечтает стать гинекологом.

– В гинекологии ваш Хаммурапи ноль, – отвечает Асясяковна. – Неделю назад, на третьей пересдаче, я у него спросила, чем отличается плацента от плацебо. Мычал полчаса. Гнать надо таких из медицинского. Индия скажет нам спасибо. Если хотите, я сама переговорю с представителем их посольства.

– По поводу плаценты, – сказал декан, – Ася Исааковна, я вас прошу, пропустите этого типа, спросите еще раз. Нельзя же так сразу и резко, после исторического визита Брежнева в Индию, после ответного визита Индиры Ганди в Москву, вы срезаете их представителя и выгоняете из Союза. Какой резонанс приобретет ваш поступок в Дели? А как посмотрят на это дело в Москве? Ведь они должны купить у нас двадцать самых дорогих истребителей. Ася Исааковна, вы же член партии с 38-го года.

– Сломали – уговорили, – ответила Асясяковна и оглядела группу. В ее взгляде был вызов. – Как член партии я готова пойти навстречу и пропустить очередного бездаря. Пусть это будет на вашей совести. Но по женской мочеполовой системе я его погоняю.

– И только по ней, – декан выразительно посмотрел на старосту.

Через три дня Беленькая выждала, когда соберется вся группа, и приступила к очередной трепанации черепа студента, как оказалось, из Бангладеша, из самых бангладешских рабочих низов.

Абдул Разак по кличке Хамраши явился в анатомичку с большим тортом.

– А торт вам зачем? – спросила Ася Исааковна.

Студент с ненавистью оглядел нашу группу. Все три дня, пока он готовился к пересдаче, мы уверяли его, что Асясяковна обожает сладкое.

– Можно отнести в ваш кабинет? – робко спрашивает студент.

– Слушайте, – взрывается Асясяковна, – расскажите, что вы знаете о строении женского малого таза, и закончим этот кошмар.

Абдул закатил глаза к потолку.

– Я сегодня сама доброта, – улыбка Асисяковны была предвестником праздника для группы и ужаса для студента. – Быстро, что такое ювенильное кровотечение, и проваливайте.

– У меня зуб болит, – представитель бангладешских рабочих еле сдерживал стон.

– Интересно, как вы думаете… – сказала Асясяковна. Группа замерла в предвкушении. Спектакль начался. – Давайте поговорим о качестве ваших мозгов. Я цитирую ваш учебник анатомии Привеса: «В яичнике находятся клетки Лейдига. Это интерстициальная железа, которая влияет на жировой обмен, развитие вторичных половых признаков и на эротизацию нервной системы». Вы согласны с автором вашего учебника?

– Во всем, – закивал Абдул.

Асясяковна ненавидела студентов, у которых нет вопросов ни к авторам учебников, ни к преподавателям.

– Не кажется ли вам, что точнее было бы – эротизация головного мозга, и даже если совсем точно – эротизация личности молодого человека? – лукаво поджав губы, спрашивает Асясяковна.

– Конечно, – вскричал Абдул. – Я сам подумал, когда прочитал, при чем тут эротизация нервной системы?

– Вот и обоснуйте, что точнее, – ласково говорит Асясяковна. – Эротизация нервной системы, или головного мозга, или личности в целом.

– Когда я вижу красивую женщину, – сказал Абдул, – я ни о чем другом думать не могу. Мой мозг решает только одну задачу – есть у меня шанс или нет.

– Признайте, Асясяковна, ведь не совсем круглый дурак, – присутствовавший на зачете заместитель декана с надеждой посмотрел на Беленькую. – Он согласен с вами, кстати, прекрасная тема для кандидатской диссертации. Правда, не в нашей стране.

– Хотелось бы точнее и глубже, – упрямо поджав тонкие губы, обращается к студенту Ася Исааковна.

На дворе 1975 год, апогей застоя.

– Неужели вы думаете, что тема Эротизация головного мозга и тем более личности может быть принята к защите в СССР? – с неподдельным изумлением говорит замдекана.

– Даже студентам в библиотеке медицинского не дают труды Фрейда и Юнга, – говорит староста.

– Тем более, – Асясяковна оглядывает нашу группу, все 20 пар глаз впились в нее, каждой паре глаз казалось, что Асясяковна обращается именно к ним. – Интересная тема для диссертации.

Из нашей группы вышло пять докторов и семь кандидатов наук, из них половина – настоящие ученые. Эта половина целиком на совести Асисяковны. Она открыла нам, как работать с учебниками. Их надо перерасти, опротестовать. Мы перестали зубрить.

– Упростим экзекуцию,– снизошла Асясяковна, – пусть этот сын непальского йога говорит, что знает в области гинекологии. Я все вытерплю.

Студент опустил голову и забубнил.

– Женская мочеполовая система начинается с девственной плевры (!). Начинать рассказ надо с девственной плевры…

Беленькая застонала. Ей было далеко за семьдесят, она почти ничего не видела, почти ничего не весила, и ее было легко вывести из себя.

– Смотри на меня, бенгалец, – Асясяковна вскинула свои тонкие ручки, сжала кулачки. – Представь, индус, что мое тело – это матка. Одна сплошная матка, утерус по-латыни. Представил?

– Представил, – пролепетал студент, со страхом поглядывая на нависшие над ним два кулачка размером с гусиное яйцо каждый.

– Тогда что есть мои руки? – Асясяковна, размахивая своими кулачками, надвигается на студента. – Скажешь – отпущу. Не скажешь, буду гонять по всем внутренностям, пока сам не попросишься к себе в Камбоджу. – Обращается к замдекана: – И никакая Индира Ганди, и никакой ЦК вашей компартии во главе с самим…. Пусть скажет индус, что есть мои руки, если тело мое – матка.

– Ваши руки, ваши руки, – бормочет студент, – что есть ваши руки? – Умоляюще смотрит на группу, и вдруг, услышав подсказку, радостно кричит: – Ваши руки

– часть скелета, вы обещали его кафедре.

– Умница, – радостно кричит Асясяковна, – фаллопиевы трубы – мои руки, туба утерина.

– Рина-а-а, – вдогонку мычит Абдул.

– Вон отсюда, чтобы я больше тебя не видела на этой кафедре и вообще в этой стране. Прощай, простейшее.

Представитель деканата пулей вылетает из анатомички. Мобильных тогда не было, спешил доложить шефу – катастрофа. Асясяковна прогнала индуса.

– Асясяковна, – говорит староста группы, – вы обещали декану сегодня пропустить студента. Индира Ганди до сих пор в Москве. Специально не уезжает, и Леонид Ильич волнуется. Сделайте им подарок, выпустите гинеколога. Индия и Цейлон ждут.

– Только ради нее, – снизошла Беленькая. – Вопрос для самых-самых. Как Хаммурапи понимает процесс зачатия. Как яйцеклетка попадает в матку, где происходит ее встреча и с кем?

Фиолетовые губы сына йога плясали каждая свой танец.

– Наш Хамрашипур в ступоре, – сказал староста. – Нельзя ли что-нибудь ближе к цейлонской реальности. Между прочим, он сын чайного магната.

– Ладно, упростим, – снисходит Асясяковна. – Итак, мое тело, как мы уже выяснили – матка, утерус. Руки мои – фаллопиевы трубы. Уяснил? – студент мотает головой, – а кулачки мои что есть тогда?

Терпеливо ждет, выждав минуту, произносит:

– Мои кулачки – овариум, место созревания яйцеклетки.

– Это ваши уроки – овариум, – радостно скандирует группа.

Взгляд вконец обалдевшего сына чайного магната скачет по лицам группы.

Двадцать пар глаз с благодарностью смотрят на Беленькую.

Она размахивает своими кулачками-овариумами над головой впавшего в коматозное состояние гостя из Шри Ланки.

Спасибо вам, Асясяковна, все мы вышли из этого чудесного экзамена – овариума, как мифы и легенды Рима из истории Римской империи.

– Еще больше упростим ситуацию, – ласковой коброй шипит на цейлонца из Бангладеш Асясяковна. – Теперь представьте, что мои руки – фаллопиевы трубы, тогда что есть мое тело? В гинекологии проще вопроса нет.

Студент Разак судорожно хватает губами воздух. С ужасом разглядывает почти невесомую Асюсяковну и выдавливает:

– Ваше тело – красивое тело.

– Мое тело – матка, – кричит Асясяковна. – Никакая я не профессор Беленькая…. – обращается к группе. – Скажите этому болвану, как меня зовут.

– Асясяковна – гроза кретинов, – хором скандирует группа.

– В таком случае, – голос Асисяковны звучит зловеще, – какова роль овариума в процессе зачатия и формировании плода. Почему для них, – жест в сторону группы, – этот экзамен – овариум, а для тебя – муки адские? Не пустота ли твоего черепа заставляет тебя страдать?

– Хочу напомнить, наш Хамрашипур – сын председателя цейлонской компартии, – говорит староста.

– Можно, я приду через неделю, – лепечет индус.

Группа умоляет Асюсяковну еще раз проверить знания сына председателя дружественной родной компартии.

– Может, я сложно обьясняю? – обращается к группе Асясяковна.

– Очень, очень доходчиво,– отвечает группа. – Еще чуть-чуть, и он все поймет.

Но Ася Исааковна потеряла интерес к студенту. Слишком недалекое простейшее. Трепанация произведена, тоненький, как папиросная бумага, слой серого вещества извлечен, просвечен; он настолько бездарен и зауряден, что тончайшая пленочка небрежным жестом возвращена обратно в черепную коробку. Остается разок-другой встряхнуть коробочку, написать вожделенное «зачтено», и хозяин коробочки навсегда забудет этот кошмар, ставший праздником для нашей группы.

– Уведите его от меня, – Асясяковна обращается к группе тоном английской королевы, удаляющей от двора проворовавшегося вице-канцлера по делам колоний.

– Асясяковна, ради всех народностей Индии и Пакистана, – умоляет группа. – Дайте ему еще один шанс. Полюбуйтесь на свою работу. Его синие губы пляшут, его подбородок дрожит, он никогда уже не станет гинекологом. Вы спасли тысячи индийских женщин и детей.

Тут сын председателя компартии вполне естественно закатывает белки. Он великолепен по-своему. Он отказывается понимать, слушать, искать ответы, он навсегда потерял интерес к медицине. Западной, восточной, народной, любой.

– Вообще, кто он такой, что его интересует в медицине? – взорвалась Асясяковна. Группа застонала в предвкушении карнавала. – Явно не гинекология. Может, сексопатология? Вы сказали, когда я вижу красивую …..

– Когда я вижу красивую женщину, – говорит Разак и закатывает глаза, – я ни о чем думать не могу. Мой мозг начинает думать над одной проблемой: подойти или нет.

– Хотелось бы точнее и глубже, дорогой вы наш эротоман, – Асясяковна сама нежность. Самое время рисовать с нее портрет «Мать Индии».

– Асясяковна, на дворе 1975 год, – умоляет староста, – в СССР нет секса и тем более эротики.

– Очень жаль, – вздыхает Асясяковна, – торт и зачетку нашего друга из Малайзии ко мне в кабинет.

Цепкими пальчиками опираясь на плечо одной из студенток, Асясяковна идет к себе в кабинет.

Мы идем следом и умоляем дать шанс Хаммурапи, иначе его папу – первого секретаря – посадят за растрату, а Центральный Комитет будет расстрелян в полном составе.

Девочки разлили чай, и мы садимся за большой стол. Асясяковна с гордым видом оглядывает группу – довольны мной?

– Это лучший ваш экзамен, – уплетая торт, отвечаем мы. – Давно такого спектакля не было.

Староста протягивает зачетку цейлонца из Кашмира. Асясяковна хватает зачетку и, стараясь умерить дрожь в пальцах, выводит «зачтено».

– Самое корявое в мире «зачтено», – говорит она и швыряет зачетку с поистине королевской брезгливостью. Кашмирец исчезает.

– Афа, – обращается Асясяковна к студентке, – возьмите лист бумаги и пишите. – Диктует Афе: – Ректору Азгосмединститута им. Н. Нариманова от профессора А. И. Беленькой. Рекомендация. После пережитого сегодня нервного стресса по милости декана Исаева я настоятельно рекомендую поднять вопрос перед министром образования СССР о резком увеличении числа студентов-иностранцев с тем, чтобы на

первом курсе производить отсев и не тянуть бездарей шесть лет вплоть до получения диплома. Хватит выпускать брак. Настоятельно рекомендую в просьбе не отказать.

Ася Исааковна пьет черный кофе. К торту не притрагивается.

– Асясяковна, попробуйте хоть кусочек, – говорит группа. – Это же ваш праздник.

– Нельзя, – отвечает она. – У меня нашли сахар, только не помню где.

Как сильная молодая львица после успешной охоты, она гордо оглядывает наши сытые, лоснящиеся, счастливые от вкусной добычи лица – довольны ли трапезой?

– Вы еще спрашиваете, – отвечаем мы, – ваш овариум – это пища богов.

Пройдут десятилетия, и эта ваша фраза из письма к ректору – «Настоятельно рекомендую…» – будет вести нас по жизни.

А вы, маэстро, говорите о Беленьком с его нежнейшей антисоветчиной. У нас в Баку такие беленькие колобродили, вряд ли кому на Привозе могло присниться.

На Асясяковну ходили как на премьеру «Юноны и Авось», выискивая и находя даже то, чего там нет.

Ася Исааковна взрастила Юлия Гусмана, подкладывая лучшие кусочки сыну профессора-кардиолога. Да не ему одному досталось. Каждый из студентов черпал из этого щедрого кладезя столько, сколько мог унести с собой.

Сколько настоящих ученых вырастила Асясяковна, угощая своим фирменным блюдом – ненавистью ко всем деканам и деканатам мира, требующим от нее пропустить болванов – сыновей первых и вторых секретарей и профессорских чад.

– Всегда удивлялась, откуда такая чушь, мол, женщина – из адамова ребра, – говорила Асясяковна. – Что может быть скучнее состава ребра? Я бы на его месте создала из аппендикса. Богатейший мир микробов, гормонов и кислот.

– Судя по тому, что получилось, – ответил ей студент Боря Гольдварг, – в тот момент, когда создавалась женщина, именно вы и были на его месте.

– Неплохой комплимент, – отвечает Асясяковна – женщина, которой чуть за семьдесят и почти восемьдесят.

Спасибо вам за все, Ася Исааковна, от имени азербайджанского и цейлонского, ныне шриланкийского народов. Спасибо вам за изысканное угощение – рагу из ляжки бенгальского водяного козла.